

84(2р-Балс)

Г-639

1242413

Борис Чипчиков

ВОЗВРАЩАЙСЯ
СВОБОДНЫМ



ЛЕЙЛЕ ГЕМУЕВОЙ — С УВАЖЕНИЕМ





М

В

Борис Чипчиков

ВОЗВРАЩАЙСЯ СВОБОДНЫМ

РАССКАЗЫ

10242413



НАЛЬЧИК . «ЭЛЬБРУС» . 1998

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
(НАЦИОНАЛЬНАЯ) БИБЛИОТЕКА
Кабардино-Балкарской Республики
г. Нальчик, ул. Попова, 42

С(БВЛК)2

4-639

Чипчиков Б. М.

Ч Возвращайся свободным: Рассказы. —
Нальчик: Эльбрус, 1998. — 124 с.
ISBN 5-7680-1326-1

Первая книга талантливого балкарского прозаика,
пишущего на русском языке.

Ч $\frac{4702010201-009}{M125(03)-98}$ 46-97

ISBN 5-7680-1326-1

© Б. М. Чипчиков, 1998



ВАЗА КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Помню день рождения. Помню миг рождения: на белом столе большая бело-голубая ваза, тяну к ней руки, вот-вот дотянусь и... она разлетается, и черепки ее выплывают в распахнутое окно и тают в синеве, а за окном яшень и чей-то голос: Отца, Сына и Святого Духа; и ветерок колышет занавеску. Я кричу, меж двух концов крика уместается мир Божий. Свежесть утренняя приносит ощущение, нет — обрывки знания, что осколки вазы и разорванные фрески на них есть слепки всей земной и всех иных бесконечных жизней моих. Знанию, что вазу не сложить, надо попытаться отыскать самые важные ее фрагменты, они и будут пропуском в иные миры и жизни иные.

Нас, первоклашек-интернатовцев, поднимали в пять утра и вели на другой конец сонного города кормить в заводскую столовую. Тьма, не за что глазу зацепиться, и почему-то столбенеешь при виде дворника в белом фартуке. Почему все спят, а он один-одинешенек в полутьме метет улицу? Здесь что-то не так, здесь все не так. Так не должно быть, раз мне больно, и чувствую — я создал вину или создам вместе с теми, кто спит сейчас за темными окнами. Пройти мимо, ведь не я же стою

с метлой, усталый, прижавшись к железным перилам. Я не виноват, и это не мое, но дворник — как линия, связующая фрагменты на моей вазе. «Что, малец, не сладка сиротская жизнь?» — вдруг говорит он человеческим голосом. Мы не детдомовцы, мы из интерната, — и криком во тьму: у меня есть и папа, и мама, и я учусь играть на скрипке, интернат у нас музыкальный. «Все мы сироты», — говорит тихим голосом дворник, и я иду в заводскую столовую, неся с собою сладко-горький мой черепок, хочется рассказать о нем несслыханными словами, но слов не было, они пришли потом, и не совсем те слова...

Я иду по черепкам, отшвыривая ненужные и глупые, и просто мерзкие, а они дробятся на мелкие кусочки и прилипают ко мне, сверкая и посмеиваясь надо мной. Дурацкий костюм из ярких побрякушек. Подбираю, напрягая силы, тяжелые глыбы, составные вазы, подаренной мне в день рождения.

Я слышу чей-то голос из моего первого дня, мой первый и бесценный черепок, хрустальный камертон мой: жили-были старик со своею старухою у самого синего моря. Вслушивался, впитывал те слова и искал среди них слово выпавшее, слово присутствующее, но невысказанное, и когда я произнес это слово — «небо», слова выстроились в лесенку от неба самого до моря синего.

На этих словах вырастали деревья и травы, и на деревьях тех пели песни невиданные птицы. И ничто чуждое и ложное, и никто лживый не мог ступить на лестницу ту. Я слышал голос из моего первого утра: Отца, Сына и Святого Духа. И не хватало среди слов этих

одного, очень важного слова. Долго искал и нашел я слово то — «Матерь Божья», не Матка Боска, не Дева Мария, а Матерь Божья.

И стал я писать киносценарий по мотивам чужих вещей, но со своим, мною найденным словом.

Я увидел маленький городок у моря, лавчонки, пыльный базар и людей, нарядно одетых, в лавках тех и не видевших моря. В лавках продавали и покупали, а моря не видели, а было море то зеленым-зеленым. Рыбаки ловили рыбу; рыбу видели, а моря — нет. И никто не видел зеленоглазую, златокудрую деву-босячку, стоящую на берегу зеленого моря в длинном, до пят, рваном домотканом платье. Чуть поодаль, в шалаше, — пожилой крестьянин, Бог весть как и откуда попавший на эти берега. Перед ним зеленое море, а за спиной далеко-далеко серое небо, изба серая, старенькая жена, и сын, и сноха. Он ловит золотую рыбу в море зеленом и дарит ее златокудрой деве, а она дарит ему любовь. Шалаш, костерчик, казанок, зеленое море, «которое смеется», он и она.

Жили-были старик со своею старухою у самого синего моря.

Приплыли революционеры в цилиндрах и робах, машут красными флагами, кричат: мол, переделаем, да разрушим, да раздуем костер, да погреем бока земле-старушке, — и не видят людей у маленького костерка.

Соседка кормила овцу бакинским печеньем. Овца брезгливо нюхала, но есть не собиралась, а смотрела вдаль сквозь бесполезные

горы печенья, и во взгляде этом умещался весь ее путь от библейской родины до кончика ножа — ее цельный кувшин. Соседка жаловалась: несут это печенье на свадьбы и похороны, со свадеб и похорон, вон у меня под навесом уже десять ящичков набралось, дети не едят, птицы не клюют, думала, баран хоть позарится, а ему и понюхать-то лень. Соседка похожа на овцу, только в джинсовой юбке и с ищущим взглядом, неведаящую, где родилась и куда уйдет, ее ваза — вдребезги. Ищет, наверное, свои важные осколки. Да, беда, печенье кто-то готовит, кто-то приносит, а есть некому. Соседке собирать свои осколки, а мне свои.

Отец в кожаном плаще, в сапогах, на голове фуражка-сталинка, в руке чемодан деревянный с огромным висячим замком, а вокруг — мир иной: магазины пухнут от избытка черной икры, колбас, окороков, детишки перепачканы шоколадом и мороженым, а на мне суконное, с отцовского плеча, пальтишко и резиновые сапоги... Палит солнце.

Целый день мы ходим по городу, мы прописываемся, и еще я узнал, что отец — спецпереселенец, слово понятное: отец специально куда-то переселился и теперь никак не может переселиться обратно.

Ночью мы падаем на пол чьей-то маленькой комнаты, которую отец важно величает квартирою. И опять утро — не мое утро, и опять день — не мой день.

Впереди нас идет девочка в праздничном платье с громадным алым бантом на голове, рядом ее мама с лукошком, полным большу-

щей клубники, я вижу пухленькую белую ручку, в ладошке мелькает, переливаясь на солнце, чудо-ягода... и исчезает меж красных губ. За ними следует пьяный, и видно, голодный человек, с глазами любопытной крысы, изогнулся весь, голова чуть ли не в лукошке, погрузился душевно в чужой процесс поедания клубники.

А в парке жарили шашлык. Женщины в крепдешиновых платьях и мужчины в макинтошах ели его. Запахи пудры, зелени, шашлыка и удовольствия от его поедания наполняли улицу, и я невольно поворачивал голову в сторону жующих, а отец, видя это, все сильнее и сильнее сжимал мне руку и, резко дернув ее, шагнул в магазин, протянул продавщице медь: сто граммов печенья, шепотом и оглядываясь, сказал он. Я взял печенье, надкусил, а проглотить не могу.

Я смотрел отцу в глаза, а видел его плащ кожаный, несчастные старые сапоги, фуражку с беспричинно оптимистическим козырьком и деревянный чемодан с громадным висячим замком.

И все исчезло, провалилось: магазинный гвалт, продавщица и весы, звуки и запахи,— пахло лишь бедностью и чистотой. Мне хотелось смеяться и от радости плакать. Я ликовал: мы бедные, и папа мой бедный, и я его очень люблю за это, а отец смотрел на меня, и глаза его стали теплыми и влажными. Ликование подхватывало и зашвыривало аж к самому небу и кубарем скатывало и зарывало меня в желтый песок у самого синего моря. Немного придя в себя, я увидел те слова, что

прозвучали под окошком моим, вероятно, из уст деревенского попа: Отца, Сына и Духа Святого. И я увидел со стороны Отца, Сына и Святого Духа, обернутого в грубую гастромомовскую бумагу.

И вспомнил я того попа, пьяного, с громадной палкой в руке, ею он крушил буфетную вывеску, — стеклянное крошево падало на землю и на голову попа, путалось в бороде, а он махал и махал своей дубинкой и кричал: «Люди, одумайтесь, сатаны в вас и сатаны, суд Божий грядет, и день ваш последний на пороге вашем». Потом, усталый, заснул в березовой роще, а кто-то из ссыльных не поленился — сбрил ему волосы и бороду, и ушел поп из дома своего, стал ходить по окрестным селам, входя в дом каждый, проклиная и умоляя: одумайтесь! А люди приветливо встречали его, и, говорят, от этой приветливости он и сошел с ума. И бродит по бесчисленным и бесконечным дорогам безумный поп и бормочет сам себе: «Что дороги? Дороги — мираж. Слаб — упавший. Выстоявший — мертв. Устали люди быть людьми. Мельканье рук, мельканье ног... проходят дни».

И вспомнил я дворника, которого предстояло еще увидеть. И вспомнил я лицо незнакомого мне человека и содрогнулся, да ведь он в любую минуту может убить меня, старушку с кошелкой, любого шофера и любого пешехода. Кто ж его так обидел? И, когда захлопнулись дверцы переполненного автобуса, я вспомнил: ведь это я его обидел. И я не хотел уже ни шашлыка, ни клубники, я хотел, чтобы всегда был отец и был бы он бедным, а от бедности той пахло бы чистотой. И чтобы

никакие другие запахи и звуки не мешали мне увидеть собственную вину за все то, что я вижу, за все то, что я слышу, и чтобы я всегда любил отца своего, и были бы у меня силы сказать встречным: «Здравствуйте, братья и сестры»,— и были бы силы сказать уходящим: «До свидания, братья и сестры»,— и ходили бы мы все по ступенькам моей лестницы от неба самого до моря синего.

Я хочу собрать все самые важные черепки, но как мне выползти, вырваться из моего дурацкого костюма, костюма из крошева мерзких фресок.

Китайцы могут в десяти строках рассказать, о чем шепчет бамбук ветру и ночи, как опадают лепестки роз и река их уносит, словно чьи-то годы уносит. Как тяжело старому с похмелья, как тесно малому в колыбели. Скандинавы могут в десяти строках рассказать, как руками они века придерживают море, расскажут, что рыбак не рыбою богат, а душою, и о душе его расскажут. Они знают, о чем кричат чайки, они слышат, как смеется янтарь. Расскажут, как молчалив и стоек песок в испытании вечном с волной и морем, и все это в десяти строках. А японцы умудрились в трех, всего лишь в трех строках рассказать, кому улыбается сакура, и о том, как пахнут утро и женщина, продающая свежую рыбу, о том, что земля одна, человек один, одна надежда. Как рождаются и умирают звезды. И все это в трех строках. Мне тоже хочется рассказать, как я умер, а потом научился смеяться, но мне и тысяч слов не хватит. Я умер в тот летний, послевоенный день, посреди необъятной Азии. И было мне то ли

четыре года, то ли пять лет — не все ли равно, разве мертвые годы считают? Было солнце? Кажется, было. Мужики пили пиво в лесочке, бабы шли в селпо, выходили с кулечками, с ситцем. А он вышел на дорогу с мешком, перепачканным известью. Человек как человек, и лицом ничего, и одежда на нем была, кажется, была. Поднимал он мешок, полный кошек под самую завязку, и колотил им о торячий асфальт. Мне и тысяч слов не хватит рассказать о кошачьих воплях, хотя, в вечно воюющих странах слов больше, чем надо. Слышали все, даже те, кто слово «мама» никогда не слышал. Мне и тысяч слов не хватит рассказать, как я умер в тот день, а затем сделал вид, что живой... и научился смеяться. Вдоль дороги тополя тянулись, мчались полуторки и «Победы», мужики пили пиво, бабы с покупками шли, и было солнце, кажется, было, приторно пахло сиренью и пылью. А парень, с виду не злой, даже на херувима слегка похож, поднимал тяжелый мешок, не всякий справится, а он смог, мертвые могут. Дома, деревья, люди, дорога погружались в прокаленное солнцем и умытое кровью слово «Азия», молчаливое и мудрое, все видевшее, все принявшее слово — «Азия».

Только что кончилась Великая Отечественная и началась просто народная, без конца и края, ежедневная и ежесекундная война, и были уже первые раненые и первые убитые, нет, не первые.

Давным-давно, далеко-далеко, за всеми морями, за всеми горами жили-были люди, и был у них свой король. Утром люди просыпались в собственных домах, а спать ложились в до-

мах чужих, на чужой земле — они воевали, воевали каждый день. Чужое солнце стали путать со своим, свою землю — с чужой, и пришли тогда изможденные люди к королю, и спросили люди у короля: «Зачем война? к чему война?» Усталый молвил повелитель: «Идем на битву мы, чтоб хоть на миг отвлечься от войны».

Когда умирал я, то был напоследок тем котом в мешке, не сказочным, а настоящим, в настоящем дерюжном мешке. Был червем дождевым, на острие лопаты. Было солнце, и были деревья, и была тишина, ехали куда-то машины, плавилась Азия, и я должен был сгореть в этом пекле, но кто-то произнесший: Отца, Сына и Духа Святого, — опустил ко мне лестницу, и прохладные слова, спеленав меня, пылающего, бережно понесли за тридевять земель, в иные царства, в иные государства.

Я хочу домой, в комнату, где на белом столе стояла бело-голубая ваза, к ясеню за окном, который помнит день и миг тот. Я хочу к голубым ручейкам, что бежали вприпрыжку по селу и кричали, булькая и захлебываясь от восторга: арык, урюк, дувал, арык, урюк...

Я хочу прикоснуться к первой своей свистульке, от звука которой дрожало утро и тополя валились и бились в падучей, слетались звуки на душевное вече, смеялось утро и плакал вечер. Я найду этот дом по той березовой рощице среди песков, насквозь и навсегда пропахшей воробьиным духом, где мы, послевоенные детишки, сшибали птиц с веток, жарили и ели, голода не было, но есть хотелось всегда.

Я сел в поезд и не сомневался, что еду за

очень важным своим черепком. Ничего из бывшего вокруг — рощу вырубили, будто вместе с девушками и парнями, певшими здесь: «Ой, рябина кудрявая, белые цветы» — вырубили вместе с песней. На месте том что-то строили, поплеывая и покуривая, скучающие ребята. Кружусь вокруг дома, а узнать не могу, место вроде бы то, а дом не тот. К стенке приколочен портрет старика Хоттабыча, внизу надпись: «Знатный колхозник Франц Майер». Кружусь вокруг дома, а во мне звучат слова то ли из хокку, то ли мои, из вазы моей: много я прожил, многое видел, и когда вернулся к своей колыбели, — она велика для меня оказалась. «Вы ищите кого?» — спросила незнакомая женщина. «Да вот, дом свой потерял». Назвал отца, мать свою. «Как же, дом ваш, но новый хозяин пристройку сделал, и не узнать». Переночевал я у нее, а утром еще до свету поплелся в райцентр, на вокзал. Вокзал. Кочегарка с обугленной стеной, глядя на которую, почему-то думалось: скоро весна. Маленькая березка у полотна, человек в куртке желтой, простукивающий колеса, шашлычник, сонный еще, извлекающий из мангала тоненький дымок, шуря и без того узкие глаза. С белых далеких гор пахнуло весенним ветром, появились девочки-киргизки в белых фартуках, и пахли они утренней ранью и земляничным мылом.

Я шагнул в поезд и вспомнил слова маленькой девочки, жившей в лачужке у самой железной дороги: и синие поезда уходят в голубую даль. И слова ее шествовали по моей лестнице от самого синего моря до самого неба и приводили меня к морю зеленому,

к зеленоглазой и златокудрой деве-босячке, а с небес голубых на жизнь нашу смотрела Мать Божья, улыбалась и хмурилась, а море смеялось и пело...

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК

Але Федосеевой

Иду с гор через буковые леса. Стою на опушке, где когда-то стояли замки, лаяли псы, надрывались трубы, деревья тоже когда-то ходили, они пришли к нам оттуда, куда идем и идем мы и никак не можем дойти. Деревья устали и стоят разочарованные, они ожидали большего. Ныряю в речку, в глубокую заводь, на воде листья, на берегу камень, сестрица Алenuшка. Голова под водой, почти у поверхности, лицом к солнцу, узнаю, откуда пришли деревья, до слез хочется уйти. Пробираюсь сквозь тяжелую лесную думу. Трасса. Машины. Лица. Осень — женщина в белом — анестезиолог. Машины навстречу, машины вслед. Сигнал. Визг тормозов, черный след на асфальте, шофер держит палец у виска, вряд ли застрелится, наверное, у него дети несчастные. Около дома на лавочке бабушки под ивою ругаются, машут кошелками. Лениво думаю: не ругайтесь, милые, ведь жизнь — это не навсегда. Солнце на лоджии, паркет, мухи дремлют на абажуре, книжки на полках, подобранные по цветам. Мои куда-то ушли, на голом столе клубника в бледной тарелке. Пастернак очень похож на Лермонтова —

взгляд исподлобья. Утекаю в ушедшие года...
Конец марта. Одичалые деревья. Необжитая
деревушка. Сундук на полу в куче мусора.

Железная кровать с шарами, вовек из нее
не выбраться. Март, тягучий и бесконечный,
насквозь пропахший хлоркой. Март очень
провинциальный, мне его жаль, заодно и себя.
Мама побелила комнаты и ушла радостная,
довольная. Первый день на Родине, на их Ро-
дине. Пахнет известкой, на полу белые пятна,
на столе две тарелки, одна прикрыта газетой,
другая тарелка, черная, как толь,— радио.
Есть не хочется, не верится, что радио когда-
нибудь заговорит, не верится, что кто-то
зайдет в мою комнату, даже не верится, что
вернется мама.

Побелили дома на главной улице, белые
пятна на асфальте; дома, больницы, люди ку-
да-то ушли, и неизвестно, вернутся ли? Бреду
в бильярдную. Стук шаров, червонцы из рук
в руки. «Иван, здоров, ну, как теща?» —
«Нормально». Звуки неживые, выбеленные.
Осень уносит маленькие дома и заборы, под-
вальчики с вином, бабушек и скамеечки, и се-
мечки, скоро весь мой одноэтажный город уте-
чет и сгинет и будет возвращаться ко мне,
пробившись сквозь черно-белый сугроб, ве-
точкой вербной.

В парке фотографы, бездомные, идти неку-
да, все снимаются. Фотографы надежней ка-
лендарей, зеркал и часов; если старого нет,
а на его месте стоит молодой, значит, ушла
эпоха, моя эпоха. Так и есть, молодой, весь
в «варенке» и «манке», — не мое. Все фильмы
отсняты. Бобины на полках. Люди в халатах
меж стеллажей. Осень. С витрины фото-

ателье смотрит Мадонна. Тигры на снегу, а когда-то отсюда смотрел на меня молодой Кадочников, в фуражке «под перепелку» с резиновым козырьком, эти фуражки любили вратари. Яшин. Факелы на стадионе, все прыгают, обнимаются, целуются, будто Пасха, Иисус воскрес. Лайма Вайкуле. Раймонд Паулс в объятиях, вернисаж в мини-одеждах. Литва без бензина. На крышах Таллинна трубочисты в цилиндрах. Дюны. Домик с красной крышей. Ели. Печь в белых плитках. Стерильно. У нас все по утрам пьют кофе. Эстонский язык, гласные плавят согласные. А у нас осень. Стадион пуст. Прожектора в осколках. Меж пустых рядов бродит пес и лениво катает носом бутылку. Звон. Приборов не надо — трясет планеты. Пес с расшатанной генетикой. Депутаты, невзирая на осень и лица, мордобоютствуют. Есть и интеллигентные от общественных. Лишь бы народ был счастлив. Народ пьет «Осенний сад». Неделю голова полна запахов. Леса. Дачи, дачные улочки, пузырьки из-под одеколона. Съезды. Сны с разбойниками. Улицы прямы и пусты, с разгона, со всех сторон врезаются в белые скалы, те пока стоят. В одной руке у меня газета, в другой — сказки, включенный приемник у ног. Осень. Андерсен. Сказки. Мюнхен. Желтая машина с белой надписью — краски. Чегем. Сельпо. Скалы. Из темной Вселенной азбукой Морзе — Аля, Аля, Аля.

Что привезти тебе, доченька, из стран заморских?

Привези мне, батюшка, аленький цветочек.

Аля Федосеева. Радио «Свобода».

Банки. Тресты. Мафия. Рынок. Солженицын — куда идти России и другим?

Максимов с «Континентом» под мышкой. Синявский прогуливается с Пушкиным по берегу Сены.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Привези мне, батюшка, аленький цветочек. Саддам Хусейн — гроза империализма. Палестина. Площадь Тяньаньмэнь. Валенса на чугунном коне. На привозе в Одессе биндюжники сплошь коммунисты — место доходное.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Суверенитет в составе. Президент Узбекистана. Пообносились бабы Малявина. Чернобыль. Черны березы Есенина.

Аля Федосеева. Радио «Свобода».

Дубы — на дачи. Кабаны роют столбы телеграфные, коты в отчаянии — помойки в прошлом, и сказка из прошлого — зерно России.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Убили Меня — богатый был. Ограбление. Патриархи выразили сожаление, священники в горе. Стреляют в корреспондентов, патроны вышли. Телеграмма Хусейну: вышлите обратно наши снаряды авангардные. Некоторые в субъекты не вышли из-за малочисленности.

Базары закрылись, в каждом подъезде, в каждой квартире бушуют рынки. В Амстердаме — тюльпаны. Подслушивающие устройства глушатся разговорами о мануфактуре, колбасе и селедке. В Мюнхене бастуют люмпены: пенсия крохи — тысяча марок, разве что долететь до Гавай, устроить съезд, переименовав его в конференцию, не дожидаясь консенсуса, выработать генеральную линию.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Картина Врубеля. Мефистофель верхом на саранче. В комитет по гигиене хлынули деньги, на духи сингапурцам. Жена Нельсона Манделы окружила себя головорезами. В Соуэто порядок — черные режут черных под лозунгом «долой белых».

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Забывчивы империалисты, в Афганистане войну не объявили — некогда было, плели интриги, миллион убили, два ранили, три разогнали. Бедные советские мамы, их дети поют о бывшей пустыне, ныне сплошь зеленой. Литва, воспоминание об Афганистане. Убили — спели. Спели — убили. Вначале было Слово, и слово было — больно.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Шахтеры устали от страны и от угля. Хорошо, не успели уничтожить буржуя последнего. Империалисты кормят здравомыслящих. По-

бедителям от побежденных. Всем! Всем!
Всем! — на охрану гуманитарных посылок.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

Крестьян наделили землей, и рухнула перспектива. Фабрики — трудящимся. Рабочие-акционеры — могильщики пролетариата. Ясени ростом с крыжовник: надышались воздухом «Искожа». Что привезти тебе, доченька, из стран заморских? Привези мне, батюшка, аленький цветочек.

Аля Федосеева. Радио «Свобода». Мюнхен.

В России снег. В Мюнхене дождь. Пивные терпеливо ждут путча. Аля в белой шубке, замшевая сумочка, сумочка с бахромой. Соборы как невозможность вернуться. К далекой часовенке. Боже, упокой душу сыночка Коленьки. Запах ржаного хлеба. С мороза к печке. Здравствуйте. Здравствуй, милая. Фройлен чем-то расстроена? Нет, просто дождь, потекли ресницы. Вы очень внимательны, герр прохожий. «Я тоже была когда-то прохожей». Столбы. Провода. Права человека. Аля, Аля. Привези мне, батюшка, аленький цветочек. Аэрофлот. Совместные предприятия, менеджеры. Конвертируемость людей. Туман. Гололед. Духи «Северное сияние». Аля, Аля, Аля.

Букинист Жора из Пролетарского района. Он очень большой и сильный, и, несмотря на это, очень хитрый. Он не читает газет и сказок, не слушает радио, он важно произносит: Додэ. А, привет, абрек, лучше гор могут быть

только деньги? Ну а девушки? А девушки потом. Жора — не дурак, думаешь, если Жора на отшибе, значит, он в прогаре? Нет, брат, в полете те умники, что в центре. Меняю пролетариям водку на книжки, пошел необратимый процесс обмена духовности на дух. Вот «Персидские миниатюры» — бутылка водки. Семь томов Додэ — за три бутылки. А рэкетиров не боишься? Да я для этих беспредельных рож — бабушка с семечками. Трясут цеховиков, вот у кого книжки — от Талмуда до Пиккуля, и материальное, и духовное, и человек посередине, и вышибалам никакой мороки, — все на месте, все по высшему разряду, сервис. Давай, зверь, лучше расхумаримся, а то у меня со вчерашнего легкая абстиненция. А голова ведь не для того, чтобы болеть, и не бежать же с ней в степь, как тот парнишка с фабричной заставы или Орленок, и, найдя белогвардейский клинок, спеть напоследок: вот прилетят орлы да настучат беркутам, ничего себе хрен со спичками, на кого они рассчитывали? Они будут коржики лопать, а я им амбразуры закрывать? Лично я шкурник и не позволю свою драгоценную шкурку... Или пограничник, я бы в пограничники пошел, и учить меня не надо, а там наши рядом, на границе тучи ходят хмуро, вроде над моим магазином они, тучи, лопаются от веселья. Прошли пионеры: привет Мальчишу-Кибальчишу, а Мальчиш-Кибальчиш уполз к своим буржуинам... Пароль при переходе — «Мальчиш-Плохиш», а там уж машины, бабы — не чета нашим выдрам: без тумана, но в штанах, и никто в дверь не ломится и не выламывает, мол, здравствуйте, Георгий, рассвет уже по-

лощется, а не тунейдец ли вы, а, может, какие книжки у вас имеются, я ваш участковый Пименов, а еще лучше — нетрудовые доходы, а ну, посмотрим вашу кровать, а коврик, небось, туркменский, одному ведь не углядеть за всем, а тем паче за собственной жизнью, оглянешься назад, и досада: живой, не отдал ее за идеалы призрака, давным-давно бродившего по Европе. Одна голова — хорошо, а две — лучше, а коллективные головы — совсем хорошо, вот написали тут на вас, с ошибками, правда, а все понятно. Ну ты чего, мужичок, что, не видишь — перерыв. Да ты чего, чердак, что ли, протекает, это не буфет, а, слава Богу, книжный магазин.

Что? Маркес с Айтматовым? Так бы и сказали, а то размазываешь сервелат по шоколаду; волокни. Клиенты мои совсем ошалели: выпить ему, видите ли, потом скажет — закусить, а потом — одень, обуь его, тоже мне! — сын полка. Люблю я их, абрек. «Простота и есть высшая интеллигентность», — как сказал Кайсын Кулиев. Что, не так, зверь? Ну, если что не так, то дернем, а если так — клюкнем. Будем счастливы — все остальное приложится. Что есть жизнь? А, зверь? Хочешь в девяти словах? «Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней», — сказал Марк Аврелий, считай, что и мой мухур под его словами. Книги, брат, это друзья, помощники, я бы сказал, за которыми далеко бежать не надо, они всегда под рукой и всегда помогут. Ну что — по второй? Вот мерзавцы, что с ними построишь, разве что второй Беломорканал, точно с шанхайского крана плеснули, там у них лужа библейская, может, с нее самой и подмолодили во-

дочку. Не горюй, зверь, гляди веселей, как говорил Уильям Джейм, а что говорил Уильям Джейм? Не знаешь, абрек, в горах таких книг не бывает, а он говорил: «Если вы опечалены, вы не сможете сразу развеселиться, но если вы будете сидеть, двигаться и говорить с веселым видом, вы невольно воспрянете духом». Вон, гляди, сколько «мерседесов» вокруг, не наши лягушата, гляди, радуйся; в машине телефон — але, кабак? Хочу жареных галушек, скорость оплачивается, и несется человек с подносом; а школьниц у вас нет слушаем? А? Зверь, согласился бы на жизнь такую? Но значале штаны нормальные приобрел бы, а, зверь? Только не надо про Теккеря, согласился бы! Знаю я вас, грустных пингвинов, небось дорветесь — потом не оторвать вас никаким тоталитаризмом. Сейчас, зверь, тут какая-то шкура пришла, может, с чем интересным.

«Шкура» одета в ситцевое платье, у меня слабость к ситцу — на человеке ничего лишнего. Глаза. Достоевский. «Бедные люди». Беременная. Держит за руку дочку, дочь стесняется, прячется за маму, мама смущена, будто деньги просить собралась. Громадный Жора восседает за столом, вокруг книжки — фото-монтаж «мы при культуре», большие руки на столе, вялые. Я не представляю в этих ладонях спелые вишни.

Вы не взяли бы Достоевского? Я с дочкой в магазин пришла, дай, думаем, зайдем, может, возьмут, мы никогда ничего не продавали, а тут — дай, думаем, зайдем. — Конечно, возьмем, о чем разговор.

Двери тихонечко затворились, через витри-

ну вижу кусочек тротуара и две сестры — мать и дочь — бережно несут третьего. Осень. Ну, привет, Жора, пошел и я, домой надо. Зверь, но ведь так не делается, за это раньше резали, ты ведь законы знаешь — двое торгуются... Подожди, посидим, приговорим еще пузырь. Привет, Жора, не могу. И несусь вслед ушедшим. Что ты хочешь, купить Достоевского? (Купить Достоевского, купить Достоевского, тьфу ты, затараторил, ощущения перемалывают слова, уничтожая их, будто курица переваривает. Догнал. Не знаю, что им сказать, как с детьми. Смотрят. Мать и дочь. Картина Брюллова «Итальянский полдень». У женщины и винограда общая суть. Удивление. Недоумение. Неприятие. Может, не будете продавать. Да нет, мы продадим, мы уже читали. Пришел Достоевский. К большим нельзя прийти — они приходят сами. Продают книжки. Господи, прости меня, беса. Мы все равно продадим, хотите — купите вы, только подождите здесь, а то у меня муж ревнивый. Сижу в песочнице, жду, прогуливаются вороны, этакие мудрые старушки. Русский язык. Озон над головой на высоте недоступной.

Ковыль. Кони. Недоумеваает Толстой: почему я верхом на лошади? Наташа Ростова — дочь Достоевского, нежные руки на усталой голове.

Осень. Песочница. Вороны. Двое первоклашек — в школу: говорят, Нинка — уличная, врут, она за деньги шлюха.

Заборы в железную клетку отделяют дома жилые от детского сада, оградили, наверное, чтобы во дворик не сели перелетные птицы; корявые обломанные деревья, по узкой до-

рожке катит старая серая детская коляска, в ней десять книжек Достоевского в сером переплете, за ней две сестры — мать и дочь, бережно ступая, несут третьего. Тел не видно. Глаза. Осень. Гуттузо. Не знаю, что и сказать, как с детьми. Сую червонцы и, прижимая к себе книжки, бреду домой. Осень. Кончились сигареты, в магазине при виде книг кинулась ко мне очень интеллигентная женщина, в испуге прочитала фамилию автора, с жалостью посмотрела на меня материнскими глазами, и какая-то силища приподняла и отшвырнула ее в сторону. Осень. Солнце на балконе. Мухи спят на абажуре, клубника на бледной тарелке, день по капле утекает в осень, и осень втекает в день.

Пришла мама, сидит на детском стульчике, моя мама, моя дочь, моя старенькая белоголовая дочь. Я глажу и глажу ее по голове, виноват, она состарилась без моего присмотра. Осени одна за одной: то купчихой, то старухой с клюкой, золотой девой, хилой девочкой. Осень — проигрыш в тотализатор, — ускакали кони, деньги в окошко. Смотрю на серые томики и думаю о моих дочерях в Мюнхене, в Пролетарском районе, в собственном доме и о сыне-букинисте. Русь — золотое блюдо, а в блюде том — золотые книжки, любовно одетые в серые одежды.

ИДУЩАЯ ПО ДОРОГАМ

Мне восемьдесят лет, вымолвить — нужны усилия, а прожить... Сиж у дома своего, со стороны кажусь, наверное, людям старым

мудрым человеком, вижу — высматривают они во мне эту самую мудрость, чтобы походя забрать ее и приспособить к жизни собственной. Искал эту спасительную мудрость и я, зачем? Чтобы понять, откуда я? Куда иду? Зачем иду? Шел ли я вперед или, может, так мне казалось, а на самом деле пятился назад к истокам? О чем думаю сейчас? Думаю о яблоке, съеденном Адамом и Евой. Оно имеет самое непосредственное отношение к моим истокам, ко мне, четырехлетнему существу, сидящему у дороги в мягкой, не по-земному доброй пыли, и по дороге той идет старушка, лет ей, может, столько, сколько мне сейчас, может, чуть поменьше. Я не помню ее лица, ни даже рук, хотя руки должен был запомнить, потому что если бы не эти руки, не случилось бы того, что должно было случиться. Дорога пуста — ни машин, ни повозок, ни осла какого-нибудь заблудшего, хоть бы курица какая прокудахтала... Мир на глазах расширился, все влияло на то, чтобы подчеркнуть важность шествия старухи с узелком. Не помню лица ее, не помню рук, помню белый ситцевый платок, чистый-пречистый, и такой же узелок, не помню, во что одета была, помню — во все старенькое, но чистое, без пятен, будь на ней хоть крохотное пятнышко, все бы рухнуло. И то, что я не помню лица ее и рук, делало ее бесплотной. Это было шествие, будто шла по дороге очень важная для всех мысль, и, как назло, ни единой души вокруг, потому что жара такая, что асфальт поплавился и кое-где потек черными ручейками, которые подчеркивали чистоту шествовавшей мысли. Поравнявшись со мной и покопав-

шись в узелке своем, молча дала мне что-то зеленое, покрытое шишечками маленькими, и проплыла мимо меня. Долго я рассматривал дар старушечий, долго им любовался, потом надкусил эту зеленую штуку и почувствовал во рту свежесть и прохладу в этокое пекло. Очень значительным и важным показалось мне все это, и я невольно повернул голову в сторону идущей. По унылой черной дороге шла она к горизонту. Чистое, доброе и белое шло по черному к темно-голубому, и мне почему-то подумалось тогда, что старушка будет идти и идти, и конца не будет пути этому. Наверное, обо всем этом поведал мне огурец, впервые мною отведанный, и ничего более мудрого, волнующего я не припомню за все свои восемь десятков лет. Вкус огуречный говорил о невиданной мною жизни, о каких-то иных временах и даже о мирах иных и бесконечных. Я не могу в словах передать значительность того, что поведал мне огурец, потому что это было настолько огромно, что не уместилось бы во все слова, что есть на земле нашей, потому что все слова — это маленькая часть того, что было внутри огурца. Я помню, что мне стало холодно в этом пекле, и я невольно взглянул на солнце, оно не грело, а просто тихо светило и прислушивалось к тому, что было внутри огурца и что теперь было внутри у меня. Я помню, что я себе показался очень большим, вышиною до солнца, и на миг я почувствовал, что огурец, солнце и я — какое-то неразрывное целое, и я с бешенством, тоской и беспомощностью подумал о людях взрослых, это было не мое бешенство, не моя тоска, не мое бессилие и не моя, до

волчьего воя, одинокость, это все из огурца влилось в меня, и я помню, как меня всего охватила и как бы вышвырнула из реальности светлая, до дрожи всеочищающая, восторженная жуть.

И сейчас, когда я слышу волчий вой, с грустью осознаю, как обеднел, обнищал с годами, и я понимаю: самый последний, самый загнанный волк гораздо богаче меня и мудрее. Вот так вот на склоне лет сидели дряхлые Адам и Ева и чувствовали, что их обманули и обокрали, и воры и обманщики — они сами. А какие они были мудрые в первый день свой, это потом они поглупели после долгих поисков неизвестно чего, искали, рыскали, хватали, гребли, пока под прожитыми годами не погребли свежую, чистую, сочную, красивую истину, что дало им яблоко.

Говорю внукам своим: «Не спешите уничтожить, проглотить помидор, посмотрите, какой он красивый, а ну, протянем его к солнцу» — и потянулись ручонки, и опустились разочарованные и недоуменные, я наклоняюсь к ним, лихорадочно думая, что сказать им еще, что предпринять. И вдруг Азамат бьет своим помидором о помидор Узеира, и в лицо брызжет сок, он стекает по бороде и падает красной капелью на землю, а внучата покатываются со смеху, глядя на меня, присоединяюсь к ним и я. Потом думаю: «Никудышный я учитель». Приходит мысль тревожная: неужели внуки мои не нашли того, что я нашел в их возрасте? А может, найдут они это позже — и в тех вещах, о которых понятия я и то не имею? Вокруг ведь столько всего, что и мыслью не охватить.

Сижу у дома своего, мне холодно, и я дрожу, и дрожь эта не восторженная, та, что была вначале от встречи с истиной, а просто холодно мне от крови моей старческой. И мне грустно и больно думать о том четырехлетнем мудром мальчишке и о себе, восьмидесятилетнем глупом человеке, который сам себя обожрал, и в груди у меня тяжелая пустота. Хочется кататься по земле, выть и проклинать себя последними словами, но я сижу важный и прямой и поглаживаю не спеша седую бороду, потому что люди вокруг, и они всматриваются в лицо мое, наверное, мудрость ищут и походя украсть ее хотят. Пусть крадут. А я думаю об Адаме и Еве, и о себе, у них был один мудрый день, и у меня был один день, они и я прожили одинаково глупую жизнь, но, в отличие от них, я не был так одинок, у меня была черная грустная дорога, и старушка была в белом платочке с ситцевым узелочком в руках, она всегда со мной, и в момент выбора она приходит ко мне, и мне по сей день стыдно от ее чистого добра, стыдно, что редко оправдывал ее доброту, но я старался, я пытался, и у меня ничего не получалось, но ведь я очень хотел, и не я один в том виноват, что не получилось у меня. Но я твердо знаю одно: бродит по черным горестным дорогам женщина во всем чистом и очень хочет, чтобы у нас всех все получалось. Нам бы пожалеть ее, она устала, она очень устала.

ТАМ, ГДЕ БУДЕТ СТОЯТЬ ДОМ

Энергия города, съедавшая мою энергию, позади. Сидящий энергичней идущего. Как я соскучился по дворняге Жучке. Жуля, я хотел бы, чтобы у меня были такие же глаза, и тогда не к лицу рожки и копытца, как мало людей, кому не к лицу рожки и копытца.

Сказка давно уже была. Громадный холм из камней — пионеры и просто дети, если дети вообще бывают, дети такая же редкость, как шаровая молния в собственной комнате, дети собрали с окрестных холмов и равнин камни, очистили сенокосы, соорудили громадную пирамиду. Громадный каменный холм на отшибе домов, среди скал, это родина моих прадедов, и палец председателя тычет в эту кучу — убери эти камушки и строй себе дом. Я хотел бы быть Жулей и скулить от любви, от избытка чувств, обежать вокруг холма и кинуться в любовь. Как футболист, забивший гол, навстречу вся команда, вот-вот схапуют, обнимут, зацелуют, а он сворачивает на беговую дорожку и бежит, бежит один, досказать, порадоваться. Но я человек и, что того хуже, старый человек. Старость — надоело быть молодым? Старость — освоение чуждого. Качу тачку, полную камней, от холма к речке, весь день мокрый, болят кости. В камне уместились и земля, и небо. Собирать камни — это просто собирать их, грузить в тачку и катить с ними к реке. Я человек, то есть пространство. Камень — пространство. Я крепко обнимаю камень, высвобождая его из земли, мое пространство соединяется с пространством камня. Расширение пространства — мое и кам-

ня. «Сизиф был счастливым» при условии, что работал без зрителей. Камень у Сизифа не простой, он точильный. Сизиф извлекает из себя дары Божьи, а камень их оттачивает. И никого больше. Человек, Бог и дары Божьи. «Личность — всегда аутсайдер». Сизиф при абсолютном безлюдье умудрился стать аутсайдером, он всегда позади камня. Сизиф и простор.

В маленьком зерне больше пространства, нежели в громадном слоне и миллионном городе. Узкая полоска берега необъятней океана. Киты — на берег за памятью. Память — убийца. В запахе типографской краски больше смысла, нежели в слове. В слове больше правды, нежели в деле. Слово — Божье, дело частенько от лукавого. Дело — ежедневно и подневольно. Слово — свободно. Вымолвить настоящее слово — годы и годы жизни. Сужение оболочки — расширение пространства. Площадь — комната — карцер. Ширь — только для глаз. Теснота — для ума и сознания. Слепые видят лучше. Качу тачку. В голове, как на вокзале. Железные хлопают страницы справочника. Москва. Иван Грозный — первый большевик, ущемленное боярство, опричнина — первое ЧК. Большевизм — народен, — грабь. Возрожденное боярство, — правь. Большевизм — триедин и вечен. Монархия, боярство, народность. Петербург. Петр I. Россия в немецком кафтане, потеря русскости, с бородой ушло лицо. Петербург, Достоевский. Люди на болоте, город в воздухе, человек в поисках города и людей. Гоголь. Невский, улица призраков, туман. Зрячий объявлен слепым. Понимающий — сумасшедшим. Мог

ли Сервантес сделать еще одного Дон-Кихота? Нет. Мог ли Шекспир сделать еще одного Гамлета? Нет. Мог ли Гоголь создать новые «Мертвые души»? Да, сколько угодно. Гений ли Гоголь?

Надо вначале определить, что такое гениальность? Гениальность — осознанная ненормальными нормальность, возведенная на пьедестал. Гоголь надэкзистенциалист. Экзистенциалист — личность, сознающая абсурдность бытия; чтобы осознать абсурд, нужен герой. Гоголь обходится без героя, то есть над абсурдом; есть сверхабсурд, видимый и прочувствованный Гоголем. Увидел, почувствовал, а слов, чтобы выразить, — нет; нет их в природе и сказать некому, нет таких людей. Он мучительно продирался к нормальности — «когда приходит очищение и лучик бьется среди слез, когда во славу вдохновенья деревья светятся насквозь» (Руслан Семенов). Гоголь говорит: — Я вижу и чувствую, помогите мне высказаться, это важно для всех нас. А ему говорят: — А у вас нос большой. Видят нос, но не слышат, как он строит себя, трескто какой, и выясняется: ценность не в том, каков ты изнутри, а ты таков, каким предстал перед мутированными очами.

Гоголь взял да и отделил от себя нос, и вот нос разъезжает в коляске, которой нет у его хозяина и, в отличие от хозяина, сыт, обут, одет и сидит себе в департаменте и правит теми, кому ценен нос — сей.

Гоголь в отличие от Архимеда нашел-таки точку опоры: уцепившись за собственный нос, перевернул мир. У Гоголя все аморфно, кроме колеса и лошадей, да и те неведомо, доедут

ли до Казани или хотя бы до Москвы. Движущийся тарантас и застывшие мужики. Немая сцена из «Ревизора» сковала все вещи Гоголя, в статике — простор. И даже Чичиков — весь в разъездах, но есть ощущение, что он на месте кружит вокруг мелкой идейки, вокруг самого себя. Видимость движения. Кружатся черти, ведьмы летают на метле, а все на месте. Толкотня на Невском, люди, лошади, не продраться. И вдруг, как после галлюцинации, видишь — улица-то пуста, и стоишь один в морозном будто поле, без травинки и без конца, ни начал у поля, ни краев, холодно.

Для чего же Гоголю понадобилось все останавливать? Птица-тройка мчится по часовой, а обитатели Руси, да и земли всей, движутся навстречу. Гоголь распят меж двумя стрелками, он меж двух сил: естественным движением земли и противоестественным движением обитателей ее; нельзя, чтобы эти две силы столкнулись. Меж стрелками небольшой зазор, и в зазоре том распятый Гоголь. Болит голова. Ясен путь Христов, а люди бредут дорогой своей, крестятся, а может, открещиваются, отгоняют сатану, а может, спасителя? Гоголь видит и слышит, хочет крикнуть, а нет слов и нет тех, для кого эти слова. Невский — безлюдное поле России.

Я качу тачку с камнями, хочу увидеть землю, где будет стоять дом. Сизиф с камнем. Ленинград. Рабочий на фабрику, чиновник на службу. Город в воздухе. Казанский собор. Солнце. Апельсин на снегу в тайге. Вспыхивают стены, колонны — ракеты, вот-вот взлетит купол. Маршируют солдаты. Усилились на-

падки. Кисловодск — город Грушницких. Самарканд. Пьяные, среди мечетей. Мат. Тимур. Верблюды, перегруженные книгами. Берлин. Горят книги. Осудили. Скоро осень. Параллельные Лобачевского, там, где они сходятся, — узел. Вокруг узла вожжи. Бурлаки. На пристани палачи ждут не дождутся. «Да будь я хоть негром преклонных годов» — башмачищи на пьедестале. Бродят бездомные собачонки, потомки тех, кому обещана была собственная печенка. «Доверие лишь к мандатам» Гоголь с «вечерами на хуторе» в центре Москвы. «Чайки» на колесах. Музей мадам Тюссо. Генерал читает стихи на Арбате. Арба — ат — лошадь, телега. Балчуг — грязь, Къязыкъ — палка для рыхления земли. Эволюция — бьют людей. Осень. Падают яблоки Тарковского, их поедают лошади, людям некогда, они воют. Усердствует поэзия — «Нам хлеба не надо, работы давай». Вспыхнули кострами синие ночи, автор в тюрьме, возможно, со временем он шагнет на улицу, на свободу — никогда. Сибирь. Мандельштам. Реквием. Воют волки. Интеллигент утонул в союзах и юбилеях. Многоуважаемый шкаф. Чехов. Степь. Мальчик в центре необжитого интеллекта, замороженный. Глохнет. Вплывает в город. Утонет. Осень. Уплыл мальчик Айтматова. На воде белый бумажный пароход. Азия из теплой Аму-Дарьи впадает в холодный океан. Айтматов бежит краем моря. О поисках родства, киргизы, узбеки — нивки, чукчи. Тщетно. Колыбель с ребенком унесло в Лету. Сулейменов вновь откопал шумерию. Шумеры — тюрки, поплавок на воде, видно суть, рождение, а не достать. Стон. Досада. Апельсин на пер-

вой елке, ребенок тянется, а достать не может. В Азии крови пролито больше, чем воды в Южной Америке, а Маркеса нет. Вот, под ногами все, чувствуешь, как кошка, мышь в подполье, а не достать. Пески. Похороны. К кладбищу не пройти — ракетная база, как ложная вешка, уводящая от колыбели. Это найдено. Это прямо из-под земли, на которой ты стоишь, выхвачено горяченьким, жжет руки.

С мамой в Харькове, никак не можем доехать до ночлега. Спорим, на какой автобус сесть, их тьма. А вы татары? Оглядывается. Смуглый мальчик в сугробе с буханкой хлеба в руке. Да, мы татары. И я татарин — кричит мальчик. Ах ты, осколочек азиатский, куда тебя занесло, с какого верблюда скатился, с какого хуржуна выпал, да хорошо с хлебом в руке. — Не тушуйся, брат. — А я и не тушуюсь, звенит его голос, сливаясь со звоном трамвайных сигналов. Как ты там, брат мой, во снегах. Тюрки на Кавказе. У Пушкина, Лермонтова на Кавказе только черкесы, правда, черкесы говорят по-татарски, но это неважно. Черкесы. Кавказ. Это так слитно, капля меж ними протечет. И вдруг Толстой выяснил, что на Кавказе живут татары и говорят они на татарском языке, едят хычины и масло стекает с кончиков пальцев к локтям. Татары — потомки шумер — дворники на Руси великой. Гильгамеш. Первые слова на глиняных табличках, восторг от запечатленного слова, дал Библию — «и был день, и была ночь». У творцов заплеванные лица, распорхались порхатые. Петербург. Метель. Блок близорук, впереди толпы шло оплеванное

и окровавленное лицо еврея, под руки его поддерживали дворники-татары с метлами наперевес. Из Симбирска, как из Пулкова, видна вся Русь. Воспоминание о Мамае. Куликово поле. Мелкопоместный хан, конспирации ради записанный русским. Обиженный и своими, и чужими. Месть за оккупацию Казани. Брат казнен. Извозчики, в отличие от Гоголя, знают, что колесо не доедет до Петербурга. Устали лошади, барин, эволюция — караул устал. Извозчики не знают, что это колесо докатит до Сибири. Грузенный матерью, отцом и всей родней под красным флагом с надписью — «Мы за все в ответе».

Русские цари. Декабристы. Народники. Перовские и Плехановы. Савинковы — ярые большевики. Хан с соратниками ждет, когда они сложат костер, да и сами его подпалят.

Большевизм — не переворот, это явление, закон человеческий, он будет приходить все в новых и новых облициях. Первая годовщина октября. Трибуна. Ленин, Троцкий. Начатое Калитой объединение Руси, о котором ни слова не сказали большевики, наконец-то свершилось. Союз обездоленных: царь, бояре, опричина плюс воля толпы и плюс электрификация всей страны. Русь — град Китеж. Толща вод и слезинка Достоевского.

Осень за осенью. Тюрки на Кавказе. Все временно. Дома, землянки. Завтра снимаемся — и в Самарканд. Возвращение затягивается. Коротаем время. Вяжем. Устанавливаем памятники большевикам. Печорин не дает руки Максим Максимычу. Досада. Непонимание.

Осень. Продрогшая заря. Озарение. Год 1937-й. Максим Максимыч сдает Печорина

пролетарскому гневу и высшей мере — социальной защите. Лермонтов все знал. Предвидел. Знание от неба, как шаблон, несовместимый с мерками земными. Пушкин знать не хочет, что Арина Родионовна написала анонимку — сказку о барине и буржуе Пушкине. Не хочет знать Пушкин, а иначе откуда взяться «Под голубыми небесами, великолепными коврами»?

Леонид Андреев беседует с гостем в собственном дворике. Надо народ освободить — голос дворника из-за забора. — Кто тут, смутьянские речи? Все замкнулось. Дворник — тоже народ. Освободить народ от народа? Как вычленишь ветер из бури? Андреев мрачен, идет домой, чтобы разрешить неразрешимую задачу. Шаламов. Сосед по нарам ел человеческий труп. Господи, разъясни ему, с кем он, с теми, кто питается трупами, или с теми, кто вынуждает это делать? И есть ли другой путь, меж людоедством и убийством? Осень за осенью. От Гамлета к человеку с простой фамилией Иванов, понимающему, что он человек, и не могущему объяснить это людям. Нет слов. Осень за осенью. Две чаши — на одной Иван Денисович в обыденном рабстве, на другой — мы в рабстве веселом. Меж двух чаш самые обездоленные, те, кто поддерживает чаши свои. А в стороне беззубый старик с прямой спиной вынимает из черного кармашка эковской куртки белый платок и бережно кладет на него пайку. Тяжело правящему. Если сам не раб, как рабами править? Лучше всех управляют рабами сами рабы. Тюрки на Кавказе. Рукав шелкового пути через ущелья к морю. Завоевание Алании.

Алан — обращение начальника к подчиненному, язык администрации, с годами смягченный, приблизительно: эй, ты. Слово родило страну. По ущельям дозоры, для охраны караванов. Должны сменить. Ждем. Все временно. Дома-землянки. Мастеров нет. Ждем. Столетия. Вяжем. Узоры на кийизах — воспоминания о Самарканде. Тюрки на Кавказе. Поплавок на воде, на дне глиняные таблички. Слова смыло, осталось одно — место рождения, древнейшая анкета и белые камни по дну, и далеки слова: Ана, ай, кёк, узакъ, жылла, желле, бир, эки, юч, тёрт. Мусоргский. Рассвет на Москва-реке. Лопаются ромашки. Потягушечки. Солнце. Аввакум. Опоры хоть о двух пальцах. Федор Иоанович — цветок незабудка. Как любовь, как вздох. Веткам от дерева оторваться бы и улететь, и улетели бы, да корни не пускают. Райские яблочки. Мичурин. Апорт. Громадины яблоки. Соблазны крупной любой головы. Власть — отказ от жизни. Увидеть бы хоть одного победителя. Вырастить громадную капусту. Даклитриан. Качу тачку, груженную камнями. Хочу увидеть землю, где будет стоять дом. В голове хлопают, переворачиваются железные листы вокзального справочника. Черные рабы в Америке. Завоевание неграми Америки. Джаз. Блюз. Буги-вуги. Мартин Лютер Кинг. Том Соьер. Воскресная школа. Камерность маленьких городов, англичане осторожно, на ощупь пытаются стать американцами. Американская литература вышла из Тома Соьера. Гекльбери Финн. Все размывает и уносит большая река. По берегам больших рек живут космополиты, у речек маленьких — лю-

да, имеющие отношение к какой-либо нации. Англичане не дышали, глядя на большую реку, ставши американцами, назвали ее фамильярно, в честь певички из кабаре — Миссис-Сипи.

Хемингуэй уверяет: любую корриду, а под словами — ненависть к ней. Набоков и Хемингуэй, с одной стороны, ткут ковер, а с другой — рождают моль, поедающую этот ковер.

Сюзан Хилл. Старый одинокий человек каждое утро чистит до блеска ботинки, костюм, цилиндр, протирает трость, заводит патефон и пляшет на набережной маленького городка среди нарядной публики. Океан, красивые люди в ярких нарядах, серое небо, медяки в котелке и одинокий старый человек, весь в черном и с красной розой в петлице, и все это называется «Немного пения и танцев».

Качу тачку, полную камней, от холма к речке, весь день мокрый от пота. Пахнет рисом. Корейцы по горло в воде. Падаю вечером на нары в своей конуре, крытой черной толью. Ем хлеб и консервы. Хочу увидеть землю, где будет стоять дом. Хочу ли я построить дом? Жуля бегаёт за тачкой, радостная, она все понимает.

Народ — это общность языка? Тогда внутри одного народа множество других народов. Молодежь ушла со своим языком. «В магазине давали джинсы и там одну масть задавили». Блатные ушли со своим языком...

У врачей свой медико-ментозный язык: церебральный паралич на почве коклюшных окончаний тромбно-синдромного дифтерита.

Хлопают в голове железные страницы вокзального справочника.

Большевизм — это «аз» и «я» и жирная точка в конце бытия. Большевизм — это я, мне хочется встать в девять, а не в семь утра. Меня бесит громадный отпечаток в снегу башмачища, прошедшего до меня. Я вглядываюсь в лица моих соседей и вижу большевизм, я смотрюсь в зеркало и вижу большевизм. Большевизм — это то, что нам всем хочется. Семьдесят октябрьских лет — это только буква Я. Мы пройдем весь алфавит, чтобы прочитать слово — динозавры. Большевизм ровно настолько, насколько мы. Большевизм может менять имя, а суть — это мы все без исключения. Роль личности в истории, да нет у личности никакой роли, кроме той, что отвела ему толпа. Желание толпы убивать, через выборное лицо. Фашизм — скороспелый, прямолинейный, недоношенный большевизм. Правда только у толпы, народ же любит отвлекаться; сочиняет сказки, песни, растит хлеб. «Суббота для человека», говорит Христос, нет, «человек для субботы», говорит толпа, то есть банный день. Суббота — это идея, и горе тому, кто стал поперек пути к субботе, и в авангарде всегда шли большевики, как бы они себя не именовали: Петрами I, декабристами, кадетами, они обречены на авангард, ибо толпа не дает им плестись в хвосте или раствориться в середине. Господи, дай одиноким опору, скользко, как на шаре. — Три врага у толпы: искусство, мысль, литература и бесконечное число вражат. Перед толпой одна задача — из пункта А в пункт Б, и она пройдет этот путь, уничтожая тех, кто вольно

или невольно призывает свернуть с дороги сей. У толпы свой алфавит, у народа нет письменности. Я заика — я знаю только букву А, она дана мне Богом, девочка, соседка по парте, укрывает от меня ладошкой большевистскую галиматью, как бы говорит: после А будет Г, не верю и ничего не скрываю; «дед», швыряя несвежие носки, говорит, что после А идет Д. Не верю, я не хочу, усвоив лживый алфавит, обучать своих молодых сельчан. Я бы мог стать министром или президентом, но мне надо затвердить, выучить весь алфавит толпы, чтобы уметь говорить, но я хочу с меньшинством, с молчащим народом. Я знаю только букву А, зная ее, могу уцепиться за краешек буквы Я. Две буквы, а меж ними пропасть, гул чужого языка, чуждого бытия. Каренина прошла по всему алфавиту и на самой макушке лжи услышала букву А. Вернись, и я познакомлю тебя с буквой Я. В букве А — весь алфавит.

Я не завистлив, я лишен начисто этого чувства, но я очень хочу быть Сизифом. «Сизиф был счастлив», — утверждает Камю. Сизиф был счастлив, ибо работал без зрителей, ибо зритель — он надзиратель. И Шоламов мог бы быть счастливым, если б меж ним и тачкой не было зрителей-надзирателей.

На свете было два счастливых человека — Сизиф и Иуда — Божьи любимцы, отторгнутые из океана зрителей.

Дождь. Качу тачку. Хорошо, что дождь, если б каждый день над головой бирюзовое небо, я сошел бы с ума, испытание красотой не выдерживает никто, даже с сытой жизнью как-то сладишь, если попыхтишь-побухтишь.

Сизиф единственный созидатель. Его созидание оправдано, ибо он созидал красоту. Созидание же вообще — первейший враг человека, ибо Богом все уж создано, построены и земля и небо, звери и люди, травы и деревья, все последующие созидания от лукавого. От первых штанов до полетов на Марс. Мадонны Леонардо — лубок, женщина как эфир — дышишь, но не видишь, нельзя нарисовать женщину, нельзя нарисовать травинку — для этого надо нарисовать землю и небо, космос и самого Бога, и только после всего можно попытаться нарисовать колючку у дороги. Бог родил нас нулями, то есть носителями бесконечного. Мы же возомнили, что единица, двойка, девятка больше нуля. Чем больше цифра, идущая после нуля, тем она меньше, она дальше от бесконечного нуля. Чем «талантливей» человек, тем он дальше от Бога. Цифра сужает пространство. Дилетант — это все грани, нараспашку. Профессионал — это увеличение одной за счет других граней. Профессионал — преступник. Профессионал — искажение Божьего. Создав, человек неминуемо становится рабом созданного, ибо его созидание — ложно.

«Блаженны нищие духом» — это и есть тот всеохватный, всеместимый нуль — Божий сосуд. Культ юродивых на Руси. Сумасшедших нет — есть инакодушные. Практический, житейский, базарно-фабричный человек более ненормален, нежели так называемый сумасшедший, ибо он более далек от нуля — блаженства. Планеты в виде нулей: Солнце, Земля, Венера, все мирозданье в виде нуля. Го-

лова в виде нуля, все иные построения и есть дисгармония в голове и Вселенной.

Евразийство, загадочность русской души, рожденная на стыке несовместимости, невообразимости.—Камерность русских, их самодостаточность плюс тюркская эмоциональность, опыт «путешествий» — встреча двух начал, направленность вовне и направленность вовнутрь. Отсюда и метания, поиск пути своего, но нельзя стоять и бежать одновременно. Попытка совместить Пушкина и Лермонтова в лице едином. И над всем этим русский язык — как радуга, вобравшая и солнце и влагу, соединившая и небо и землю. Мусоргский — Бах, Шопен, Моцарт — в лице едином. Дворжак — Европа вся в лесах, прорубаются первые просеки, плач вырубаемых деревьев, первые города как первые болячки цивилизации.

Болгары — прекрасные штангисты и борцы. Плоды тюрко-славянского симбиоза. Штангист — основательность плюс взрывная сила мышц и духа. Юрий Власов — самый сильный человек планеты, тяжкий путь восхождения на спортивный Олимп и еще более тяжкий путь — возвращения к себе, к человеку нормальному, страдающему и мыслящему. Длинный путь — эволюция вверх и эволюция вниз, к истокам. Путь не без ошибок и заблуждений. Ближе всех к истине люди, испытавшие всеобщую любовь и всеобщую ненависть. Меж любовью и ненавистью — истина, в виде нуля.

Большевизм — пресс над нашей головой, и вся наша энергия направлена против этого пресса. Для того чтобы сдвинуть эту плиту, нам нужна любовь друг к другу. После устранения плиты наша энергия растекается по го-

ризонтали — мы начинаем враждовать друг с другом.

У человека, к сожалению, выбор: или дождь — или снег, солнце — как передышка.

Тоталитаризм — громоотвод от междуусобиц.

Демократия — большевизм, опирающийся на частную собственность. Три жита демократии: обогащай, развращай, правь. Большевизм — паразитический куст на дереве христианства, фашизм — ветвь на ветви большевизма. Хорошая миниатюра — спрессованная эпопея. Грант Матевосян — мальчик в красной материнской шали, зима, голод, стужа. Армянин зимой — нелепица. Эпопея, спрессованная в рассказ. Армяне, солнце. Армяне — пресыщенные. Армяне, зима — так есть. Курды — народ дервиш, в поисках собственной страны с винтовками наперевес. Бесконечный поиск земли своей в бесконечных песках. Мираж, ООН, сообщество стран, сообщество людей. Доллар — проклятье Божье, заплесневелая индийская кровь. «Со мной все в порядке, Джим, а на тебя наплевать». Гуны, разорив Европу, вернулись в коммунистический Китай.

Тоталитаризм — это все против одного.

Демократия — каждый против каждого.

Демократия ближе к Божьему. Бог всегда защищает одного от всех. Мне никогда не попадались хорошие люди, но я встречал хорошего человека; живет среди людей, запутавшихся в античеловеческой игре, святой человек.

Люди в сфере бесовской, человек — это божье. Все против одного, каждый против

каждого. Даже родившие тебя, по ходу жизни, пытаются исправить свою оплошность, забывая, что рост наш от Бога, и у людей нет возможности укоротить кого бы то ни было. Мы видим бомжа, зэка, золотаря — как воплощение личности с укороченным людьми ростом, но это мираж. Явь то, что внутри этих изгоев.

Качу тачку, полную камней. Мелькают люди, страны, народы. Сквозь светлый родниковый пот доносится неуловимый запах арбузов азиатской прохладной ранью, камышовый шалашик сторожа. Качу громадный арбуз, немного уступающий моему росту.

Революция — это не только перераспределение материального, революция — перераспределение языка — заставить барина говорить языком простолюдина, а самому выражаться на столь желанном барском. Трудно быть рабом, куда трудней быть рабовладельцем, ему вечно барахтаться в трех грехах: он самоубийца, он убийца, он и певец, воспевающий убийство. Горького не купили, он должен был сделать выбор между рабами и рабовладельцами, последние показались ему менее мерзкими.

Платонов из «Деревни» Бунина.

От толпы нет тени, просто сплошная чернота, если нет тени, значит, нет и солнца. У Платонова во всех вещах мелкий бесконечный дождь, не имеющий шансов перерасти во всеочищающий ливень. У Маркеса ливень, смывающий мелочь. Суть крупнеет, расширяется, ибо ливень смывает границы неба и земли, соединяя их в единое целое, и суть земная утекает в бесконечность, крупнея и крупнея.

Набоков — утонченный Хемингуэй.

Боже, спасибо, что лишил веры в события, отнял возможность делать выводы. На улице драка. Трезвый прохожий, веря событию, действию, делает вывод — жизнь ужасна. Двое целуются — жизнь прекрасна, думает верующий в события, и только пьяный, пройдя меж двух событий, выносит вместе с собственной цельностью некую правду, ощущение правды, живущей меж жестокостью и любовью.

Чеховский «человек в футляре» окружил себя дымкою, отстраняющей его от событий и охраняющей его самость от утекания и растворения в этих самых событиях. Кино работает только за счет этой легкой дымки меж зрителем и актером.

Театр — лицо в лицо, и видна бородавка на лице актера, а это отвлекает. Актеры всего мира как ни пытались приблизиться к Чехову — тщетно. И только Васильев совершил чудо, отбросил слова, ибо слова уводили от сути. Он побежал к Чехову, бросился в него в своем балете «Анюта». Хрустят кости, трескается кожа и в пластике внутреннее вытекает вовне и является сам Антон Павлович, да не один, а вместе с Гоголем. К великим нельзя прийти, они являются сами. Воистину танцующий мудр. Танцует человек, танцуют планеты. «Анюта» — порыв и прорыв сквозь бытовщину и белую коросту бесконечных «маленьких лебедей», танец, сметающий всяческую шелуху, танец-крик, короткий и убедительный, раздвигаются времена, падают картонные генералы-балетмейстеры. Просто танцует человек, танцуют планеты. Простор и светлая бесконеч-

ность. Первый день творенья, еще не родилось слово, только музыка вокруг, и танец и Бог. В танце этом и Гомер, и Сервантес, и Шекспир, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Чехов. Танцующий человек устал и в блаженстве вымолвил: хорошо. И пришло слово. И деньги, и флаги, и генералы. И потекли мутным ручьем дни, годы и века океанами грязи. И пришло слово, и было то слово Я — как хлопок мышеловки. И жизнь пришла, как подготовка к смерти, жизнь, когда смерть желанна.

Бог один, сколько людей, столько и богов, веселых и хмурых, умных и не очень. Пришел дождь. Жуля мокнет на пороге моей хижины, я сижу на топчане и пью чай. Дождь наполнил мою тачку, проник в мое жилище. У Жули глаза цвета светлого чая. Дворняжка умней любой породистой собаки, в ней нет генетической зацикленности на себе, в ней больше любви. Сквозь вечный дождь, сквозь дома громоздкие, посиневшие изнутри, от недостатка любви и музыки, сквозь сине-фиолетовые индустриальные Филоновские пейзажи вспыхивает коричневый Вьетнам. Рис собран, дети и внуки вяжут снопы, старик-вьетнамец, прошедший все учения «великих кормчих», «незаменимых рулевых» и всеохватное чучхе, загрунтован в темно-коричневое, плоть исчезла, и лишь глаза темно-янтарные, чистые-чистые плавают где-то далеко-далеко во вземной ясности.

Он выкатил свой камень на вершину высокой горы. Камни собирают в одиночку. Париж. Булонский лес. Ливень. Ураган пытается снести многовековые дубы. Куприн мокнет

и плачет на скамеечке. Нет России, никого нет. Он — один. С коржиком в зубах, не пробиться к солнцу. Ищи камень. Натруди плоть, до резиновой гибкости, чтобы она забыла о душе, не третировала ее.

Мальчик Короленко строит город, начал с обездоленных, начал с подвалов. Отец. На работе судит людей. Жена умерла. Горе. Не до сына. Лишь редкие встречи с ним. Городок круто замешан на цыганах, бродягах, мелких чинушах. Петр строил город, вгоняя людей в болото. Мальчик строит свой город, могучими силами своими вытаскивая людей из болота. Петру — памятники, мальчику — забвение. Хочешь памятник — убивай, чем больше убьешь, тем выше памятник.

Азиатский ренессанс: Айтматов, Сулейменов, Пулатов. Айтматов без усталости расчищает многовековую пыль под ногами, добрался до истоков, и истоки те поведали о вселенной всей. Сулейменов раскопал Шумерию, ученые тюркологи растащили Шумерию, крадя по камешку, по кирпичику, о Сулейменове, понятно, ни звука. Пулатов соединяет континенты — Евразия. Опыт — врожденное. Опытный человек и генерал. Якир в тюрьме. Пытается докричаться до Сталина, верит в его неосведомленность. Малолетний сын Якира, Петя, убежден, что Сталин и его дружки — попросту убийцы. Опыт — от Бога.

Мудрейший из мудрых — Идиот Достоевского, ибо он пуст, блажен и вольно в этой пустоте необъятной душе его, отвергающей все ложное и фальшивое извне. На первый взгляд у Достоевского очень много необязательных слов, слов лишних, это не так. Дос-

товский очень точный писатель, каждое слово выверено. У Идиота любимое животное — маленький ослик. Как это верно и как точно. Не могу вообразить себе, как мог бы полюбить Идиот, положим, тигра.

Бунт ничтожеств. Главный враг ничтожных — это любовь, в любом ее проявлении. У Паустовского: Старик и собака, промокшие, продрогшие, но любящие, заходят в трактир просто отогреться, на еду денег нет. За столиком двое, со здоровым духом в здоровом теле поедают колбасу. Ешь себе, умножай здоровье, никто ведь не мешает. Старик оборван и убог, собака стара и ободрана, все вроде бы способствует усилению аппетита, но нет, в трактире враг — любовь. И вот на полу лежит кусок колбасы, собака подползает к колбасе, виновато поглядывая на хозяина, Старик поощряет взглядом друга — бери, понимаю, голодно, но ведь это не нарушит того, что меж нами. И они уходят в дождь. Удел любящего — гонения, удел «здоровых и телом и духом» — тепло и сытость.

Жуля мокнет на порожке. Дружить с ней я, пожалуй, не смог бы, дружба многого требует, не съешь куска лакомого, не ложишься на кровать мягкую, не укройся теплым одеялом — и так без конца. А вот любить Жулю я смогу, любовь самодостаточна. Мокнет Жуля, и мне кажется, прижмись я к ней, взмокни, замерзни до зубного стука, и освободятся глаза, станут такими же, как у Жули, и, взглянув в истрескавшееся зеркальце, я увижу, что рожки совсем мне не к лицу.

Дождь с небес, как древние еврейские песнопения, история, сплетенная из музыки, голо-

сов и судеб, песня светлая и горькая одновременно, история вчерашняя и завтрашняя, восход и закат, гимн и плач, дым печей и апельсины на рынке Тель-Авива, века рассеяния и века воскрешения, потеря себя и трудный, тяжкий возврат к себе; родить себя, нарисовать, собрать по крупицам, рассеянным в прошлом, вылупиться из песен и танцев, из обрывков слов, из горького запаха ковыля, из миллионов голгоф соорудить одну, вскарабкавшись на которую, увидеть вершины золотого Сиона. Еврейская песня — единая песнь трех народов — евреев, арабов, шумер. Шумеры и евреи, народы-соседи, породненные кровью и духовно, женились, выходили замуж, на основе общего мировоззрения создавали книги. Христос и Магомет — дети одного народа — евреев и арабов. Библия и Коран — две страницы листа единого. Я слушаю балкарскую песню, и в нее вливается песня еврейская, в многоголосии исходят дома и скалы, поющие единую песнь. Балкарский — самый консервативный из всех тюркских языков, поэтому он лучше других созвучен древним тюркским текстам. Я вижу Багдад и Иерусалим, два равно родных города, две родины мои, две половины колыбели моей. Два города, построенные памятью моей, снами, плачем, запахом балкарской колыбели, настоящим на еврейском и шумерском духе и общей нашей песней. Я говорю салам и добавляю шолом. Для многих тюрков и для меня полнокровное паломничество — это Стена плача и черный камень Каабы, ибо для нас — это две половины камня единого. Мне хочется видеть свободный Иерусалим и свободный

Багдад, мне хочется верить в цветущие эти страны, живущие по законам трех книг — Талмуда, Библии, Корана.

Салам и шолом, родившие нас и оставшиеся в веках, салам и шолом, живущие и радующие нас своей жизнью, салам и шолом, еще не родившиеся, дарящие нам бессмертие. Тюрки — ветер истории, сеящий и сжигающий. Тюрки — шов на стыке трех континентов — Европы, Азии, Африки. Тюрки — пчелы, оплодотворившие многие культуры. Я собираю камни и буду строить дом круглый, как яранга и юрта, мечеть и церковь, чтобы лучи солнца не бились об острые углы холодного, фиолетового квадрата и отлетали прочь, а стекали бы, обнимая жилище мое. Я качу тачку, обливаясь потом, на меня с любопытством взирают лица, нарисованные Босхом и Рафаэлем одновременно. «Девочка с шаром» Ренуара и «Девочка с шаром и сачком» Пиросмани списаны с одной модели. Нет школ и течений, есть радуга и мироощущение.

В нескончаемом дожде бесконечные песни черных рабов — попытка соединить кокосы и кока-колу. В негритянских спиричуэлс: воспоминание о родине и в слезах обживание вынужденное земель чужих. И в дожде, в хоре обездоленных слышна и русская боль Шукшина, льющаяся из тюркских глаз. И в дожде в этом родилось великое русское актерство, из хляби провинций, пришедшее к золотым куполам Москвы и Петербурга, чтобы через местную непогоду поведать миру о всеобщем ненастье. В дождь тащили русские люди три громадные сваи — литературу, музыку, балет, дабы не поглотила молодой народ зыбкая

русская почва. Дождь на всей земле, дождь большой и бесконечный. Приходит большой дождь. Приходит, занавешивая быт, парализуя и размывая его. Уходят звуки, запахи — врывается литература, заглушая гром, затмевая молнии, молодой и дерзкой по-мальчишески и многотрубной многовековой строкой единой поглощает все и ввергает все в тишину — и «разверзлись хляби небесные». Строка уносит, смывая в небытие, артиллерийского офицера Толстого, восхищенного выправкой драгун и удалью гусар, и, заново рождаясь, Толстой видит в большом дожде маленького, мокрого Наполеона, и приходят слова Пьера — Как меня, мою бессмертную душу?! Князь Мышкин воспринимает окружающих его людей, как дождь, как успокоительный фон, он не отвлекается на глупую фразу, на жестокое слово, блеск шелков и бриллиантов, как капли росы на елках-подростках.

Все затихает и меркнет в большом дожде, но ведь горит костерок на Бежином лугу, горит и не гаснет. И кто-то открывает Божественную книгу — букварь и плещется в словах: у Шуры шары и мама моет раму, и кто-то рвется ввысь по столбикам золотых цифр, не ведая, что предстоит медленный путь назад к тому мигу, когда вспыхнули на белом фиолетовые цифры, назад от серой графы — зарплата, с большими надоевшими, скучными, пыльными цифрами, к тому золотому нулю.

Академики, мнущие в руках громадные цифры, как сапожник щетку, увлеченные траекториями высоких полетов, бешено хлопающими и орущими — браво! бис! — на балете «Щелкунчик», изобретшие не одну атомную

бомбу, вдруг прозревают и ползут назад к нулю, где у вонючей параши умирает Сын Божий Анатолий Марченко за ту слезу неведомого ему ребенка. И если Бог смилостивится и омоет большим дождем, то с вершин Марсов и Венер начнут карабкаться академики к вершине будущего букваря, к высоте тазика, в котором Мать Тереза моет ноги прокаженному. Каждый день, как игра с автоматом — за какую ручку ни дерни, выпадает зеро. Игра по дьявольским правилам, испытание на прочность, — испытание на вшивость, испытательный срок. Хождение к ближнему как за три моря, к соседу через океан.

Обломов один из немногих, у кого нет множества вариантов, их всего два: или диван, или жизнь во всю мощь. Он не Штольц, измеряющий жизнь линейкой сантиметровой. Пойди Россия в свое время за Софьей, сохрани лицо свое, пусть с бородой, разве стояла бы она недоуменная, безликая на распутье всех дорог? Петр же отшвырнул Россию на многие и многие века назад, после чего Россия — дом без фундамента, страна вечного попугайничания, страна без собственных границ, с вечным радением за Бог весть чьи интересы. Россия — четырехликая страна, обращающаяся во все стороны света с недоуменными вопросами: что делать? кто виноват? Благо, остался язык русский, на него и надежда, музыка и свет, подарок Божий, он и выведет страну на ту, только ей сужденную дорогу.

Сегодня же Россия — земля, которую неизведавший не поймет, а изведавший не поверит. На распутье всех дорог, ненастья, непо-

годы, гроз, прикрывшись толпой глупеньких берез, стоит Россия, вся мокрая от слез. Японцы интересны миру «лицом необщим выражением». Улыбка японца дороже всех компьютеров, машин и небоскребов, им созданных.

Качу тачку сквозь строй зевак, им интересно наблюдать за мокрым человеком, на лицах улыбка — симбиоз ехидства и простоты; через пот свой добираюсь до мыслей своих. У дороги истоптанный цветок мака. Единственный, быть может, цветок на земле, ниспосланный нам свыше для очищения, оболганный художественной и медицинской беллетристикой, затоптанный полицейскими сапожищами. Искажена суть цветка — трезвее трезвого на ложное пьянее пьяного. В малых дозах он просто необходим человеку, как баня и чистое белье. В больших же количествах — просто убийственен. Чтобы принимать маковый сок, нужна очень организованная душа, душа, способная не переступить грань между чистым и смертельным. Если бы наука помогла найти тот ограничитель, она бы вывела человека на новый уровень мышления, на новые гуманные формы бытия, ибо маковый сок снимает с человека все, как правило, пакостное — жестокость, зависть, злобу, чрезмерный материализм — и увеличивает количество любви на земле. Если бы в основе цветка было бы что-то злое, бесовское, он не пленил бы такое количество душ. Если бы те деньги, уходящие на бессмысленную дурацкую борьбу с наркоманией, давно переросшую в настоящую войну с применением автоматов, танков и самолетов, передать науке, — задача эта была бы решена. Ожесточение этой бессмыс-

ленной войны вызывает рост цен на наркотик, а рост цен — все более и более тяжкие преступления. Какой покой обрело бы общество, сколько преступлений кануло бы в безвозвратное прошлое, реши люди эту проблему и реши ее не танками, а любовью и умом своим. А это означало бы прекращение самой продолжительной гражданской войны, войны против собственных детей, войны Богопротивной, бесовской, ведомой государственной тупостью и обывательской слепотой. Качу тачку, полную камней, а в голове грохочут железные слова — «Святой долг каждого человека защищать Отечество свое». С долгом человека ясно, а где же долг государства? А долг государства перед человеком — предотвращать войны, тем самым снимая с человека его долг. Человек долги платит, государство — никогда. Чтобы как-то привести к взаимоприемлемым взаимоотношениям человека и государства, саму суть долга надо изменить. Государство должно, на основе договора с другими государствами, одновременно перестроить казармы под молитвенные дома, а долг каждого человека молиться в этих домах, познавая себя и других, наполнив реальным содержанием банальное — «Бог един», только именуемое по-разному. Преступления, преступления, заторы, мешающие увидеть лик человеческий, а через него и лик Божий. Преступление официально трактуется как деяние человека, наносящее урон людям, обществу. А где же государство? Оно при этом событии как бы не присутствует, удивительная способность государства исчезать в самые ответственные моменты. И если все же умудриться найти это

самое эфемерное государство, то трактовка преступления будет звучать несколько иначе: условия, созданные государством для человека, минус содеянное человеком, разность и будет трактоваться как преступление. Качу тачку, полную камней, и мокрыми от пота губами шепчу: «Не допущу греха — человекоубийства, терзания души человека, убийства животных и поедания их плоти». Уничтожение без крайней нужды «неживой природы» — это основные грехи. Но множество иных грехов висят на мне. Почему я не симпатичен? Это мой долг перед собой и другими. Почему так мало любви я привнес в мир сей Божий? Скольких женщин удушил тем самым, удушил в буквальном смысле, ибо любовь для нее, как воздух для остальных. Я и есть убийца и душегуб. Господи, помоги очистить меня, ибо в нечистом любовь не селится. Женщина не способна быть счастливой, она вынуждена лелеять плоть свою за счет духа своего. Чтобы быть счастливой, ей не хватает малости — узреть в прохожем и мужа своего, и сына своего. Счастье — это когда твоя энергия совпадает с энергией окружающего тебя мира. Горы, горы, народ наш. Есть очень симпатичная теория: новгородцы презирали власть, считали это низким, низменным, потому и пригласили Рюрика на правление. Зачем нам отдавать лучшие умы свои власти, что равнозначно небытию — смерти. Пусть правят другие, наша же потенция потечет в более благостные стороны: литературу, спорт, искусство. И будем благодарны тем, выполняющим за нас эту грязную работу. Чудеса искусства: ансамбль «Балкария». За несколько месяцев

можно вырастить разве что картошку, а создать ансамбль, разгладивший морщины тысяч лиц,— разве это не чудо. Прекрасные костюмы, намекающие на азиатский корень, музыка, которую ни с чьей другой не спутаешь, классически выдержанный стиль, не владающий в циркачество. Артисты не высоки ростом, слегка корявы? Да. Но это даже к лучшему. У высокого, хорошо сложенного энергия втекает и утекает, не задерживаясь, не накапливаясь в нем, ей не за что уцепиться, нет корявинки. Танцы — это спринт. А спринтеры, как правило, сложены не очень удачно, есть, правда, исключения, как Карл Льюис. Художник из Санкт-Петербурга Уянаев, чьи картины, как сплав музыки, философии, поэзии.

Сулейман Бабаев — мастер миниатюры, умудрившийся в несколько строк спрессовать глыбы народной мудрости, лиризма, доброты. «Такой идет снег, что нет возможности не поумнеть». Читай. Плачь и очищайся.

Расул Ахматов — европейского уровня прозаик, в коротком рассказе соорудивший сложную многослойную, многоплановую архитектуру — мальчик — родители — дедушка, а меж этих поколений плещется вино. Прекрасно. О поэзии говорить нечего. Она на хорошем уровне. И «волшебной сказкой старость спустилась с небес» прекрасно, но все же нужны новые имена, новое молодое мирочувствие. У нас выбор: или петь, или властвовать? Одно исключает другое. Будь Кайсын главой администрации деревушки, района, — пусть шара земного, — разве согревала бы день наш сегодняшний его улыбка, разве утешали бы

душу его слова? Каждому свое. А петь? Кто ж нам запретит петь? У нас есть о ком и о чем петь. Айран — питье и еда наша. Айран — хранитель нации, наше телесное и наше духовное. Женщины наши, буквально спасшие народ свой от вымирания. Здесь нет ни грамма поэзии и вымысла, вот этими пропеченными холодными казахстанскими ветрами, навек прочерненными киргизскими шахтами, руками и вытащили они народ свой из пекла, отняли у смерти самой. Они морщинисты и некрасивы, они укутаны в немыслимо яркие тряпки, глаза их вечно слезятся от вечного вязания, но свершенное ими светло и бесценно. Пусть Бог пошлет вам красивых и умных внуков, поющих и рисующих, пишущих прекрасную музыку, ищущих слова заветные. А день 8 марта для нас вместил все — и горе, и радость. Мы плачем, поминая усопших, мы радуемся живым. Мы ушли в один день, но в один день и вернулись. Вернулись и поем, и петь будем во веки веков. Вечером у хибары своей развожу костер. Огонь всегда стирает настоящее, уносит в прошлое, слегка освещает будущее. Хочу сказать: годы прошлые, какие там годы, эпохи и эпохи. 1948—1953-й — отмена карточек, смерть Сталина. Отпылала война и пришел какой-то веселый покой, свершилась еще одна революция, революция в себе, осмысление Европы, топали себе по шкафам слоники, плыли лебеди по простыням, но они уж неспособны были заслонить Европу, выклевать и вытоптать не могли бациллы, вызревшие в душах бывших солдат. Люди ходили, наполненные чем-то значительным, они предчувствовали перемены.

1953—1956 годы. XX съезд. Все носимое внутри хлынуло вовне, прынул Московский фестиваль, воспламенивший всех, от его огня зажигались все новые и новые праздники, и даже мудрый, предостерегающий взгляд Хемингуэя никого уж не мог остановить.

1956—1960 годы. Новый стиль в одежде, джаз, молодежь в восторге своем оторвалась от уклада, быта, традиции, от отцов своих, улетела в новых узких штанах и с новыми словами на устах.

1960—1964 годы. Окуджава, на чьем синем троллейбусе мы все же выехали из мрака. Чьи песни сохранили пораненные остатки нашей человечности. «Сорок первый»: ба, да любовь-то важней и сильней революции. «Один день Ивана Денисовича» посильней, чем «Записки из мертвого дома», сильней не событийно, а художнически покрупнее. Гагарин как апофеоз народного восторга, переселение людей и народов из тюрем в дома свои, конечно, условные. Одна волна восторга накатывала на другую, и плясало и пело море людское. После войны, после разрухи люди радовались новым домам своим, новой одежде, новым песням и новому дню своему.

1964—1968-й. Брежнев, Чехословакия. И все замерло, и тишину не могли нарушить даже многотысячные поклонники поэзии площадей: Евтушенко, Вознесенского; и в тишине на площадь вышла совесть, воплощенная, народная совесть: Сахаров, Богораз, Литвинов и другие. И утонул «Белый пароход» как воплощение цветаевского «Не желаю быть». Вампилов — самый крупный, после Чехова, русский драматург, за незатейливостью внеш-

ней, слов и событий — крик уходящих в болото. Простор для актера, простор в духоте. 1968—1985-й. Распутин — «Пожар» — пророчество дней наших сегодняшних, вакханалия толпы, сорвавшейся с тоталитарной цепи. «Прощание с Матерой» — сильный текст, убивающий и простор, и ощущения. «Деньги для Настены» — есть место для горения слов; широка Россия, а рубля занять не у кого. Астафьев — «Печальный детектив» — вязкий быт, лишенный бытия. Отар Чиладзе — бездонные грузинские духовные эпопеи. Сулейменов — «Аз и я» — продрался сквозь века и докопался до корней тюркоских народов. Ахмадулина — симбиоз тюрко-славянской духовности.

Великое советское кино. «Судьба человека». Бондарчук. «Овод» — трагедия, сын, рушащий духовность и отца и Бога. Невозможность что-либо изменить. Чухрай. «Баллада о солдате». Солдат, как чистота, затоптанная мерзкими правителями. «Калина красная». Человек, пытающийся выползти из лагеря, попадающий на «волю», где в клубе сладкая самостоятельность, а вовне — аморфный дурдом. «Печки-лавочки». Поезд как страна. «Конструктор», он же вор, кондуктор — целной пес социализма, пассажир — просто мелкий кляузник, столица — шутящая интеллигенция, пустыня, как и в родной деревне. «Дочки-матери» — интеллигенция и народ — столь близки, как Марс и Венера. Ростоцкий. «А зори здесь тихие». Мать. В одной руке ребенок, в другой — автомат. Михалков. «Рабба любви» — трамвай без водителя, а в трамвае, мчащемся, обезумевшее искусство — сирота, а вокруг все смешалось; чекисты, белые,

кинематографисты. «Чужая белая и рябой» — провинциальная мафия, добравшаяся до неба, до голубей. «Чучело» и «Плюмбум» — жестокость, сконцентрированная в одном и растекшаяся по многим. Великое советское кино, заставлявшее вечно сбивать с себя пыль, выплевывать из себя нескончаемые шлаки. Титаны мирового искусства — Смоктуновский, Борисов, Янковский, Ульянов и еще десятки и десятки, после которых, как после бани, да в чистом белье, спасение от комсомольско-партийной полицейщины. От атомного средневековья, просто от быта, где «99 живут только для того, чтобы сделать сотого сумасшедшим».

1985—1993-й. И грянул год, словами Горбачева — «Мы за приоритет общечеловеческого над идеологическим», и слова эти смели империю и страны многие. Разваливалось то, что не могло не развалиться, от узбека и литовца ничего не родилось, да и родиться не могло. Разрушен барак — и слава Богу, слава Человеку, разрушившему рабство, пора бы дом строить каждому на свой вкус, а вместо этого: кто виноват? Все рабские миазмы растеклись по горизонтали и травят всех: и ближнего, и дальнего. Бушует Распутинский «Пожар», и он высветил, что нет ничего хуже демократии после жесточайшего тоталитаризма. Не пришло время собирать камни, каждый из нас накидал их столько, что за всю оставшуюся жизнь не расчистить. Демократия для нас, как солдату — компьютер. Иди, тому же солдату объясни, что автомат тяжелее любого камня. Демократия — и есть собирать камни в буквальном смысле слова, и на внуков нечего рассчитывать, у них будут свои камни, воз-

можно, потяжелее наших. «И высохли на земле все моря и реки, и стал человек строить лодку». Будет дождь, будут и ручьи; будут ручьи, будут и реки; будут реки, будут и моря; и нам без лодки никак не обойтись.

Я качу камни, один укачу, а два разбросаю. И нет конца и краю камням, мною рассеянным. Совсем как у Абэ «Женщина в песках». Человек в глубокой песчаной пропасти, сколько ни чисть эту пропасть, а песок практически невыпребаем. И каждый в глубокой песчаной яме, но ведь была и лягушка, попавшая в чан с молоком; барахтаясь, она сбила молоко в масло и выбралась из плена. Мы выбрались из ямы, но мы настолько к ней привыкли, что принялись выкапывать новую. Свобода — это любовь, лишенный любви — лишен свободы. Не любя живем, не любя плодим. И слава Богу, остались еще свободные люди, как раскольники, ушедшие в свое время в кочегары и сторожа, в леса и монастыри, шли с крестом и мусульманским амулетом, шли, хранимые Богом на небе, неся Бога в себе. Жаль, что они самодостаточны, как планеты, и так же отдалены друг от друга. Русь — нескончаемая перманентная революция. День наш прожитый — десятилетия, год — сгустки эпох. Мы ели кислый виноград вместе с отцами своими, едим и сейчас. Качу тачку, полную камней, выплевывая шлаки прожитого, из пор моих утекает с потом вместе желтая моя рабская кровь, и сквозь плотную густую желтизну, мысль, как кусочек, голубой пульсирующий кусочек. — В чем мое величие? Чем я отличаюсь от улитки и носорога? Власть? Деньги? Слава? Жалость. Жалость и есть величие.

Жалость — когда «моя слеза течет по щеке твоей». Жалость — как спасенье мое и всех. Любовь и жалость должны править миром. Земля нам даже не мачеха. Земля — вселенский отстойник — общепланетная каторга особого режима. Мы уголовники, сосланные на землю с иных планет. Уголовность — суть наша, гены. Куда подевались динозавры? Мы их съели. Торговля оружием и наркотиками на государственном уровне, государственный вооруженный бандитизм, войны. Две трети чекистов и милиционеров сидят на этой земле за изнасилования, тяжкие телесные повреждения, убийства. Две трети профессоров и писателей — за растление душ, в особо крупных размерах. Да возьми ты хоть маленький топорик в свои немощные, вымирающие ручки, выйди, пусть не на большую дорогу, куда тебе — духу не хватит, выйди на тропку, убей ты одного, десяток; нет, ты вскарабкался на кафедру для погубления тысяч и тысяч душ. «Живи хоть тыщу лет — спасенья нет». На земле одно лишь время — время разбрасывать камни, собирать их — дураков не осталось. Остальная часть каторжников на сельхоз и промработах. Они пленники вялотекущей трудотерапии с летальным исходом. А власти-тели наши давно уж вне слов, они черные отпечатки абсолютного зла. Одноклеточный рэкетир — проза пенсионеров и нищих — добывает кровавые денежки для власть имущих, дабы не истончали лопаты последних. В чужой стране, сидя на трупах солдат, непременно поет лирическую песню о хорошо исполненном долге. Ах, вышла ошибка, убил я миллион-другой, так это не я, это те, кто думал за

меня. А мне дайте квартиру, я жить хочу, и памятник при жизни. И песни, песни, поющий не может быть плохим? Поем, как жаль нам Христа; ошиблись, так это не мы, это Рим, Пилат, козни Вавилона, интриги жидо-массонов и туманность Андромеды. Нам песня строить и жить помогает, да песня-то все лагерные, ночью убьешь нескольких, а утром, ба, да ведь это мать родная, отец единокровный, сестра единоутробная, а с нею и друг, и товарищ, и брат. Нам песня строить и жить помогает. А в песнях Ветхого завета поем, как Бог собственноручно истребляет целые народы, разрушает города и страны. Реки и моря крови заполняют страницы. Вытягиваются жилы, и бежит история мурашками по спине. Потом высыхает, испаряется кровь со страниц, исчезают явные фальсификации, расизм и шовинизм, и ты оказываешься в гуще поэзии и на просторах неохватных грандиозного романа, заново встречаешься с Маркесом, Сервантесом, Гоголем, Достоевским, Чеховым, Лермонтовым, Пушкиным, Фрейдом и всеми, всеми. «Земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною», и лермонтовское — «В пустыне мира без приюта вослед за веком век бежал, как за минутою минута, однообразной чередой, ничтожной властвуя землей». «И был вечер, и было утро: день один», «И произвела земля зелень, траву, сеящую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо». И пушкинское: «Кто знает край, где небо блещет неизъяснимой синевою, где море теплою волною вокруг развалин тихо плещет, где вечный лавр и жи-

парис. На воле гордо разрослись». Здесь Маркес летает на простыне. И Достоевский вглядывается в топор, летящий в космосе; топор падает на дом Раскольниковова, и на дом старухи, и на дома, близкие и дальние. На страницах Библии уместаются все: и убийца, и праведник, и пророк, и Божий враг лжепророк, псевдоинтеллигент, образованный хам, душегуб, дующий на костер у собственных ног. Все спаялось емким и гулким союзом И. Здесь Моцарт и Чайковский, Бах и Мусоргский, и колокольный звон Хемингуэя. И звонит он по мне. Картины Босха и Рафаэля уживаются в одной строке. Почавкивают платоновские земные хляби бытия, и идет его мелкий нескончаемый дождь быта. Утро кроит печаль, день вышивает слезы, годы шьют платье забвенья. И одна осталась лишь защита — «Защита Лужина». Как всегда, точна Раневская — «Все провинциально, кроме Библии». Не Божье это дело подрубать под корень виноградники, лишать хлеба насущного только за то, что ты не из числа народа «богоизбранного», истреблять целые народы в угоду «богоизбранным». Правы говорящие, что «Бог — это любовь» — и только любовь. И каждому воздастся по количеству любви, внесенному им лично в мир сей. С Богом можно говорить на трех языках: на языке любви, на языке удивления и на языке кротости. Три пути ведут к Богу — дорога жалости, дорога великодушия и дорога милосердия. Говоря на трех языках, идя тремя путями и придешь к Богу. Усвоивший эти языки и идущий этими дорогами и есть Богоизбранный Человек. Никакому народу эта задача пока не по пле-

чу. Народ может быть «всегда правым», бессмертным, непобедимым, но Богоизбранным быть не может. Главное условие Богоизбранности — безымянность, ибо жалостливые всегда в тени, милосердным не ставят памятников, не за что? — он не Наполеон и не Чингис-Хан, крови не проливал, дома не рушил, страны не разорял, а милосердные всего лишь дают и плачут. Они почти все неудачники, лишены эполет и орденов, они улыбаются звездам на небе и с отеческой жалостью взирают на звезды на чьих-то плечах. Богоизбранных много, они везде, ими возделывается земля, строятся дома, ими переполнены тюрьмы и психушки, их топчут; наступишь на такого, а он смотрит на тебя отеческим, жалостливым взглядом: — (Кто ж, сынок, тебя так обидел, кто ослепил тебя, тебя, путающего землю с живой плотью? Праведник отрезает ухо себе, рисует лицо свое, обезображенное вечным криком кричащего в пустыне. Да вот же рядом с тобой горит непалимая купина подсолнухов, вот же гроздья смеха висят на винограднике, все создано, все есть, все сотворено, благодари, пользуйся и радуйся, ибо радость — суть Божья; разве унылый слепил бы солнце, разве плачущий усеял бы всю землю цветами, разве невеселый нарисовал бы коту усы, а павлину хвост. Трудно выучить языки Божьи, трудно осилить пути Его, но иной дороги к Нему нет. Через пот и слезы, боль и отчаянье и все же Радость — прыгающий на одной ножке ребенок, поющий и танцующий старец — божьи люди. Пьющий в меру вино и безмерно любящий — Божий человек. Много на земле Богоизбранных, да жаль, мы их

не видим. Мы о них не слышим, но мы просто знаем, что они есть. Главное условие Богоизбранности — безымянность. Бывают и исключения — доктор Гааз, Мать Тереза, Махатма Ганди, отец Мень и многие другие, но безымянных больше, они суть, они соль, они основа, они и фундамент, и Дом Божий на земле.

О чем бы мы ни говорили, а все к Гоголю приходим. Гоголь — смысловой узел России.

Гоголь складывает простые, безобидные слова, а прочитаешь — страшно, а критики вторую сотню лет считают его сатириком. Да поймите же вы, кормящиеся его именем, не смеется он, а плачет, ибо Чичиковы, Коробочки, Хлестаковы — это ведь все мы. Страшно от деяний гоголевских героев. Коробочка говорит: «А я еще мертвых-то не продавала». Еще главный лейтмотив всей поэмы, казалось бы, дальше некуда, ан нет, оказывается, есть резервы для дальнейшего обезличивания, для дальнейшего самоубийства. Еще — это когда индивид готов принять все чудовищное и нелепое извне, чтобы собственное Я убить. А ведь родились-то мы голые, это потом уж одеваться стали, и не всегда сами выбираем платье.

Может, и мчимся мы в тройке, но куда? Проголодаешься от быстрой езды и «веселых» песен ямщика, устанут глаза от холодного света, луж по краям дороги, от чернеющих у самого горизонта редких деревьев, пахнет неустроенностью сотен судеб и собственной судьбы. Безднадежно рабская спина ямщика, грязь из-под копыт, кони, окольцованные хомутами, серое небо, закроешь глаза и дума-

ешь: кони, лужи, небо, в одной мы упряжке, и ехать не хочется, а спрыгнуть... куда? Лицом к лицу с небом. Небо и ты, и все... Ничего во всей Вселенной. Откроешь глаза, да вот спасенье, радостные желтые ворота, и вот он веселый, хлебосольный Плюшкин. Гостишь которую уж неделю, а хозяин потчует все, да на белую постель укладывает. Ехать уж пора, да всплянешь на хозяина, ну как расстроишь его своим решением, и останешься еще на день. Но надо... «И летит птица-тройка, да кто ж не любит быстрой езды».

Лев Аннинский: «Роман «Буранный полустанок» испорчен рыхлостью пространных описаний, хрестоматийностью пейзажей, дурным вкусом научно-фантастического элемента. «Лесная грудь» вызывает у меня, простите, не образ светлого будущего, а образ волосатой женщины. Критиков, которые пишут об этом романе в ритме гимна, всерьез читать не могу. Уж что сейчас помогло бы писателю такой силы и таких возможностей, как Айтматов,— так это дотошный разбор текста, безжалостность конкретного анализа».

Ну и ну, не впервые слышу о «школьности» стиля Айтматова, опять стиль, опять оболочка и ни слова о том, что же родилось от внешней и внутренней связи о том, третьем, что важнее и значимее всех и всяческих стилей — атмосфере, духе, вещи.

Пространность описаний передает дух пустыни: ее дремотность, сильный и емкий текст только сузил бы бескрайность, нарушил бы звуковую особенность степи, сильные слова, как барабанная дробь, врывались бы в веками

устоявшуюся спрессованную плавную музыку Азии. И уж совсем ни к чему дотошный разбор текста. Мы можем дотошничаться, что, разрывая текст, мы из большой Азии получим сотни песчаных островков, лишенных жизни. Согласен, что «лесная грудь» звучит не очень приятно и вообще фантастическая часть выглядит «заплатой иного цвета».

* * *

А. Спирин: «Шукшин сделал удивительное открытие, употребив в буквальном смысле поговорку: «С бору по сосенке», кто-то из пишущих искажил форму данной поговорки, употребив ее в редакции «С бору да с сосенки». Ошибку эту повторили Шолохов, Федин и др.»

Нам кажется, обе редакции имеют право на жизнь. Дело в ритмике произведения: если автор ведет рассказ плавно, последовательно, то с «бору по сосенке»; если вещь экспрессивная и автор подчеркивает нечто из ряда вон, то «с бору да с сосенки», «с бору да еще с сосенки». Так, например, — вагон и маленькая тележка.

* * *

Самые обездоленные сыны человеческие — это властвующие и только насыщающиеся, они Божьи пасынки, им к Богу не прийти, ибо они не знают языков Божьих и не видят путей Господних. Они могут прийти в церковь, в мечеть, синагогу. К Богу — никогда. Говорящий на трех языках и видящий пред собой

три дороги, сливающиеся в единый путь, не идущий сам и не показывающий его другим, — великий грешник. Ближе всех к Богу монахи, узники, композиторы и балерины. Только концентрация духовного, душевного и телесного, да еще и музыка, доселе еще не написанная, и способны приподнять человека и плавно приземлить его в безлюдной Москве.

Господи, да что эта за игра, где нет побед и ничьих, игра с единственной ставкой — поражением, или убей, или прикажи убить, или будь убитым. Или — или, так ведь это не игра, это — война, а на войне не бывает выживших, уцелевшие оставлены как бактерии, как вирус, чтобы рождали убитых.

Господи, что ж Ты загружаешь лучших, ведь тащат и свой и мой грех; подели поровну, дабы не падали лучшие и не топтали их идущие налегке. «Возлюби врагов своих» — это буквально, ибо они такие же, как и ты, Божьи дети.

«Возлюби врагов своих» прочитывается и в переносном смысле. Не будь их, нет необходимости из тайников души и духа тащить на свет Божий все, что ты приберег на старость, дабы было чем жить и на что жить тебе на склоне лет твоих, и заиграло, и засветилось в свете Божьем все, что дремало и чахло в недрах твоих, и враги уменьшились в росте, а ты вырос. За счет врагов и растет человек. Гонители всегда малы ростом, гонимый — высок. «Возлюби врагов своих», возлюби гонителей, ибо они почти всегда гонят тебя в сторону Бога.

Уносят годы и дробят то цельное детское,

емкое и пахучее. Память и есть едва помни-
мый запах гармонии всего и всех; все осталь-
ное ложь — бытовой миф, бытовой мираж.
И только любовь способна вернуть память.
Годы, как плохо определенный фокус, невер-
но выбранная диафрагма, и ты — размазанный
негатив, и из цветущего поля втекаешь в бес-
просветный фатальный запах ковыля. И толь-
ко труд возвращает тебя к исходному. «Время
собирать камни», и камни соберут тебя. Ма-
лое — это сконцентрированное большое. В пше-
ничном зернышке — тысячи элеваторов,
в яйце — тьма кур, в камне — история. Мы
высыхаем, время сушит, из нас утекает жи-
вая вода, мы высыхаем, превращаясь в анти-
вещество, достаточное, чтобы превратить
в ядовитую пыль эту маленькую землю; чет
нужды ни в атомных, ни в водородных,
ни в иных каких бомбах — лишняя трата де-
нег; народы сами позаботятся о своей судьбе,
без участия умных своих сынов. Серое ве-
щество утекает из мозга, обволакивая тело.
Ад и есть бесконечное, непрерывное серое,
огня под персональной и братской сковородой
(в зависимости от земных заслуг) не будет,
ибо цвет его напоминал бы о солнце, порожд-
дая несбыточный оптимизм. И только любовь,
и только память (а любовь и есть память)
способны развеять потусторонний мрак. Лю-
бовь — это озарение. Любовь — это встреча
земли, неба и человека. Любовь — это нор-
мальность. Только любящий может сказать —
я нормальный. История — это музыка. Музыка
народов, переданная через великих своих ком-
позиторов. Музыка — это подлинная, непред-
взятая история признания всеми. Музыка —

это история дерева, лепестка, цветка, кошки, бегемота, человека, земли и космоса. Музыка — история войн и немногочисленных праздников человечества. Хоровое пение — передача наиболее концентрированных этапов истории. Чайковский — история любви человеческой, торжествующей и не состоявшейся. Моцарт — праздник, гармония произрастающего и живущего. История часто болеет, рок-музыка — лучший диагност этой болезни. Рок-музыка — это движение, вакханалия вирусов, бактерий в организме истории. Рок-музыка — история вирусологии, королева медицины. Каждый композитор написал свой кусочек, свой пласт истории. Музыка — это то, что было, что есть и что будет. При помощи музыки можно найти ту самую собаку, умершую, проглотив философский камень. Место, где зарыта собака, безуспешно ищут все новые и новые поколения. А найти можно только музыку, все остальное — бытовой и интеллектуальный мираж. И найдя, наконец-то свободно вздохнуть — «Господи, наконец-то свободен!».

Свобода — это то, что к человеку не имеет никакого отношения. Человек — это ангел, закованный в демонизированную оболочку — тело, этакая куколка, из которой только со смертью вылетает бабочка. Вся агония — безуспешная попытка вырваться и ухватить за хвост большую хемингуэевскую рыбу, а ее нельзя поймать, она нам ниспослана Богом в день нашего рождения, вон она плавает во дворе в невидимом глазу, бассейне, большая-пребольшая, с громадными голубыми глазами. Плещется в воде и зовет нас, а мы не видим. Нам надо ее поймать где-то там, на стороне,

и стоит нам только подумать об этом, как ниспосланная нам рыба уменьшается, как шагреновая кожа, и в конце концов от нее ничего не остается, а вместе с ней уходим и мы. Суть не в том, что поймать, а в том, как бы не упустить. Хемингуэй и Маяковский слишком поздно это осознали. Конечно, не все так просто в этих трагических уходах, но все же... Раскованность Запада, шорты, маечки, трусы, энергия вливается и без задержки утекает, ибо, чтобы удержать ее, нужно усилие, напряжение. Напряженность России, скапливание энергии и концентрированный духовный выплеск громадной силы — кино, театр, литература, живопись, наука, спорт. Раскованность — вещь прекрасная, ходить в набедренной повязке и с вечно раскрытым ртом, конечно, пир телесный. Напряженность — будущий праздник духа. Сегодняшняя напряженность России — завтрашний ренессанс. Нормальный человек — это человек, рожденный от убежденной хиппиянки и академика Лихачева. Хиппи — это попытка очеловечить проживающих на земле, но чекисты и чиновники посчитали, что они — слепок их жизней — и есть тот путь, по которому должно идти общество, и общество пошло бы, да сил уж никаких. Иссахла любовь, а без нее идти некуда. Любовь — это и путь, и преодоление пути.

Господи, внизу тесно, наверху — подло, отстающего бьют и верхние и нижние. Быть нет никакой возможности, а «не желаю быть» — грех. Солдатами не «рождаются». Плох тот солдат, кто ничего не желает. Общество возвращает убийц для того, чтобы с ними потом бороться согласно указу 0015/34. Москва,

Кремль, Вашингтон, штат Невада. Белка в колесе — автопортрет человечества, медведь на велосипеде — самоистребление, убиение Божьего в человеке. Политика — разговор о невозможном, утверждение несбыточного. Спорт как попытка выпрыгнуть хоть на миг из сумасшествия. Футбол — воспоминание о первом дне человечества, восторг от сущего, после которого и было слово. Интеллект Пеле, Круифа. Надежность — Джентиле. Разрушение Карфагена — Гарринчи. Чуткость — Воронина, широта, кругозор — Веремеева, Конькова, Кипиани. И родившийся, и растворивший себя в футболе — Стрельцов. Футбол — интеллект, энергия, вдохновение, творчество. Футбольный тренер должен быть дилетантом, он должен быть над, а не у кромки поля. Он живописец, архитектор, дизайнер — всего понемногу, главное — наличие абсолютного вкуса. Пьесы Чехова должны ставить и играть дилетанты, не обремененные дикцией, ермоловской осанкой и системами всех мастей. Обладающие только одним качеством — абсолютным вкусом. Интеллигентность красит все. Интеллигенты везде, даже в боксе — Григорьев, Агеев, Мохамед Али, Кузнецов, Киселев, Конакбаев, Енгебарян. Иду на вы — Медведя изощренность, утонченность, соединенная с молниеносностью Али Алиева, многогранность Шахмурадова, былинность Ярыгина, суть — разные пути к свободе. Борьба — взаимопомощь, совместный путь к свободе и победителя и его оппонента. Год в девятку, 5-й концерт Рахманинова, полет Плесецкой. Гениальность землепашца Мальцева, ежедневный подвиг просто живущего, улыбчивого, поющего

на улицах и есть разрушение куколки и полет бабочки. Пляски африканцев, бой (народов) барабанов, грузинские песни, танцы народов Кавказа, русское истинное лицо в кино, театре, литературе, а главное, Иванушка Дурачок — символ свободы, вольная прохлада еще молодых лесов, — суть русского, то есть симбиоз тюрко-славянского — вершина интернационализма. Пушкин, Толстой, Лермонтов, Тургенев, Чаадаев — это сам интернационализм крови и духа. Часть общества покаялась после «Сорок первого» Чухрая и «Баллады о солдате». Это и было началом перестройки. Тогда-то и проросли первые ростки общечеловеческих ценностей. Литература врала или отмалчивалась, церковь стала социалистической, и этот мрак освещало только кино. Советское кино по значимости своей в одном ряду с русской литературой XIX века. Будут в кино еще всякие измы, более изысканные формы, фантастические возможности техники, будет все, но мировое кино всегда будет возвращаться к советскому, как литература возвращается к Гомеру, Софоклу, Эврипиду. В наши дни выйти из кино да в жизнь — будто из бани в болото, сейчас гармония — из болота в болото. Но время злобного примитива пройдет, ибо злоба и миссия — понятия несовместимые. Миссия любви — да, миссия добра — да, но миссия зла? Язык отказывается выговаривать подобное, звучит нелепо, как злобная лань. Не несущее миссии — однодневно. Страна застегнута на все пуговицы, сержанты и генералы, швейцары, жэковские чиновники, начальствующие школьники-звеньевые, председатели дружин и отрядов моли-

лись только одному — начальственной дикции. И в этот дурдом ворвался Пашка Колокольников из фильма Шукшина «Живет такой парень», ворвался, как ветер, со дна морского, из самого града Китежа. Пришел простой и емкий, как дождь, как снег, как ностальгия по несостоявшейся нормальности. Пришел, и мы услышали здоровые слова, увидели нормальные поступки. Пришел улыбчивый, ёрник, миссионер, и мы увидели себя и с досады рванули рубахи, и полетели державные пуговицы, и рухнул Союз, Свифтовский союз, в основе которого был физический закон — все легкое всплывало наверх, все крупное опускалось на дно.

Рухнул Союз серпа и шаров собственного и близь и даль прилегающих народов. Мы шли в кино не за мыльными мексиканскими пузырями, мы шли туда, чтобы жить, мы убегали туда от утопии. «Калина красная», «Судьба человека», «Жил певчий дрозд», «Гамлет», «Три тополя на Плющихе», «Доживем до понедельника», «Пять вечеров», «Пьеса для механического пианино», «Мы, нижеподписавшиеся», «Премия», «Обыкновенное чудо», «Когда деревья были большими», «Иваново детство». Да разве все перечислишь, от одних названий тепло, хочется их повторять, как стихи и молитвы. Мы веровали в кино, ибо кино несло Божье; и наши апостолы не предали нас, и мы выжили, пусть искалеченные, пусть с огромным крестом на жизни нашей. Но были у нас мгновения истинные, воистину чистые, мгновения, когда мы жили и живем, греясь у огня, рожденного трением художника и быта. Лучше всего о великом советском

кино сказал Мюнхгаузен устами Горина, Захарова, Янковского: «Подъем в 8 утра, до 8.30 разгон облаков и установление хорошей погоды». Вот и наше кино было занято разгоном облаков и установлением хорошей погоды в несчастных душах наших.

А сейчас все камни собраны, и уставшему человечеству — время пить «Херше». Отгремели дебаты на тему: «Стоит ли наступать на грабли?» Черный квадрат на флагах всех стран и стяге ООН. Черный квадрат — как наше прошлое, настоящее и, к сожалению, будущее, шансов никаких. Миром правят синие люди Филонова, а воздух фиолетов. «Открыть окно, что жилы отворить». «Какое на дворе тысячелетье?». Окно сейчас вообще не отворить, решетка не позволит, одна радость: не появились еще тюремные козырьки, как деталь из программы — каждому к двухтысячному году — по тюремному козырьку. А пока синее, фиолетовое, серое сгущается, вбирая в себя все и вся. Люди для того, чтобы трансформировать добрую сущность человека во зло. Люди — это некая эфемерная сущность, пытающаяся сформироваться в нечто реальное. Грянуло солнце среди ночи, луна пропылала среди дня, пришел первый день заката.

Наступила эпоха самой последней и самой затяжной революции — бунта ничтожеств, тотальное, впервые осмысленное наступление серости на остатки, крохи человечности. Земля и все живое на ней зарождалось, быть может, от микробов, а погибнуть ей суждено от одноклеточных. Серость сама себе вождь и исполнитель собственных замыслов. И во

главе этой толпы — Люмпен всех сословий и классов, этот вечный и злой, отстраненный от материальных и духовных ценностей, наконец-то вырвал из правящих рук свою долю материального и расставаться с завоеванным он не намерен. А люди — это абстракция, как: победа, свобода, мирное существование. Люди — это легионы, объединенные разными целями, понятия не имеющие, за что они воюют. Люди — мираж, реален лишь человек. Если рубят сук, на котором сидят, — это люди, если сажают дерево — значит это человек. Господи, воистину этот сук из сверхпрочных материалов — все рубим и рубим и никак срубить не можем. «Не всякая птица долетит до середины Днепра», времена меняются: нет той птицы, что приблизилась бы к берегу Днепра (Чернобыль).

Бог с нами говорит на равных, а мы различаем лишь отдельные буквы, мы, как младенцы, ощущаем Бога, чувствуем Его прикосновение, но Глас Божий нам недоступен. Легче пьяному перейти через мост Сират, нежели вкусившему власть вернуться в нормальное человеческое состояние.

Крестьянство — ящик Пандоры, безнадежно инфицированная материализмом сущность, материальное, доведенное до порока, до душевного разврата. «Каждый пишет — как он дышит, каждый дышит — как он пишет». Пишущий — вообще дышать не должен, вместе с воздухом уходит воздух из слова, и оно становится худосочным. Творчество — это затаить дыхание. В последней капле пота, блеснув, исчезла «Незнакомка» Блока.

В основе патриотизма — любовь, в основе национализма — ненависть.

Интеллигентность — это пятьдесят процентов вкуса и пятьдесят — стыда.

Интеллектуал — «Меня интересует все, что меня не касается».

Интеллигент — всегда чужая боль в моей груди.

Кто виноват? — Государство.

Что делать? — Не угодничать.

Ум — это удачный монтаж жизненных кадров. А чтобы из тьмы сюжетов отобрать необходимые тебе кадры, нужен просто вкус, а стыд — это реакция на плохой кадр. Профессионал выбирает какой-нибудь единственный кадр, распушивает его. Молится на него и растворяется в нем. Господи, Ты дал четыре ноты: весну, осень, зиму и лето. Люди придумали семь нот — Чайковский, Вивальди, Дворжак, Рахманинов, появились люди, семь нот спрессовавшие в одну — Бах, Мусоргский. И все дела Твои, Ты создал сотворцев, не попугаев. Японцы из пространной китайской поэзии оставили три строки, а из этих строк родились высокие японские технологии — брать чужое, отсекают лишнее и оставляют свое.

«Овод» как тройной одеколон, «Дон-Кихот» — это даже не тончайшие духи, этот запах, минуя нос и сознание, заполняет подсознание, это нечто, не имеющее запаха, но ассоциирующееся только с этим чувством.

Космополизм: гуманный и агрессивный.

1. Гуманный: твое лучшее — мне, мое лучшее — тебе.

2. Агрессивный: ни тебе, ни мне.

Надежда вернуться к себе: это язык, потомуки Сахарова, Ковалева — путь к истокам, возврат к гуманному космополитизму и покаяние на деле. Провоевал в Афганистане девять лет, двадцать семь лет кайся, обустройвай, корми, извиняйся, молись, только воссоздавая Афганистан, Чечню, можно возродить Россию с русской основой. И покаяние только действенное.

Формула покаяния проста: год воевал — три обустройвай.

Я пытаюсь расчистить кусочек земли — родину предков своих, чтобы построить дом. Пока я таскал камни, ко мне в гости шли с конца земли люди, я узнавал их и принимал, под каждым убранным камнем народы и страны, клочок земли расширился до уровня планеты всей. Под одним из камней я раскопал новое Евангелие от Игоря Шкляревского. Из Старого я взял всего одну заповедь: «Возлюби ближнего как самого себя». Из всей современной литературы — стих Игоря Шкляревского: «Твоя слеза течет по щеке моей». Соединил два Евангелия и получил одно. Излишне уже говорить: не убий. Ну как ты убьешь, если любишь ближнего как самого себя и его слеза течет по щеке твоей. «Не убий!» — обращение к мертвому, ибо живущий убить не сможет, а убивший — мертв. Оказывается, льется не чужая кровь, а своя. И из-за чего льется, из-за самого пустого, погремушечного, не ненаполненного никаким содержанием слова — «победа». Это слово камерное, глубоко личностное, вырываясь наружу, оно окрашивается в красный цвет и запрашивает са-

мую дорогую цену, существующую на земле,— лицо человека, лик народа. Разве есть на земле такие богатые люди и народы. А заплатившему — пребывать в вечной нищете.

Я строю дом...

НОСКИ

Пришла осень, будто давно ожидаемая женщина пришла. И ты, как всегда, не готов к встрече. Домик твой не прибран, на столе ни хлеба, ни цветов. Ущелье будто расширилось. Деревья заснули, то ли глубоко о чем-то задумались. Усталые горы присели бы, да некуда. Стих рёв голубой горной реки, и она, одевшись в покорную зелень, по обрыдшему пути идет неспешно на встречу с морем. Цветы постарели, стали ярче, напоследок, что ли, разгорелись. Я сидел под деревом прямо в центре турбазы. Лето вышло из меня, осень растекалась вширь, едва меня касаясь. Женщины поменяли штормовки на платья, и это удивляло, они готовили себя к новой жизни, как бы тренировались, примеряя маски для той, другой совсем жизни, от которой отделяли их какие-нибудь десятки километров; они ходили, и в их походках исчезало что-то туристское и появлялось нечто бульварное. Сказочные летние существа эти женщины: тяжко, уж сил никаких, а она достанет помаду, сотрет все невзгоды, улыбнется и поцокает дальше, и конечно, навстречу с лучшим.

Деревянные финские домики уже почти не пахли помадой, духами, сигаретами и вод-

кой. Они пахли сыростью и олифой. Запах сосен, красные гроздья рябин на склонах гор, предсмертная яркость цветов, слоняющиеся по турбазе последние туристы — все это смешалось во что-то густое, но прозрачное, и если возможны светлые похороны, то это и был тот редкий и, быть может, единственный случай таких похорон — хоронили лето.

В далеком поезде плакал Визбор: «Опять я Баксаном любуюсь, как сказкой прошедшей, прекрасной и неповторимой, веселой и щедрой, совсем по-кавказски, и чуточку грустной, как повести Грина». И эхо этой песни грустью растекалось по нашей далекой турбазе. Будто из сказки, из леса, только что родившись, среди сосен и берез появилась знакомая девушка. Шла, сжигая огненной гривой окружающее уныние, в синих глазах ее по весне, по степи необъятной неся ошалелый табун вольных лошадей, и только где-то в глубине их затаилась грустная рысь. Идем среди молоденького леска, в народе его так и зовут — «молоденький», он чуть постарше меня и ровесник беды нашей, когда нас вырвали почти что с корнем. В тот год пересохла река наша, чего никогда с ней не случалось, после засухи грянули ливни и сель смел в одночасье старый лес. Успел он вырастить несколько поколений — укрывал от дождя и холода в домах, сделанных из плоти своей, укачивал в колыбелях своих и ушел с нами, погребя семя свое под белыми, величиной с яйцо, камешками. Красота любит менять лик свой, были деревья, потом камни, сейчас вновь лес, что будет завтра?

— А я вот читала Пушкина и Лермонтова.

а понимаю Кавказ, когда смотрю на коробку «Казбека», и оживают абреки, и таинственные горянки; в этой маленькой картинке многое уместилось, словами и не передать, воли много и давней, уж выветривающейся, чистоты. Как мне не хочется уезжать,—и глаза ее стали серыми. Когда ей хорошо — они голубеют, чуть что не так — сереют. — Да и мне что-то не хочется в город, видно, тому, кто родился в деревне, уж не стать горожанином.

— А в село чего не переедешь? — Да и там я чужой, ни пахать, ни сеять, ни толком готовое съест. В общем, ни украсть, ни покараулить. Да и на завалинке нужно подолгу высиживать, а я неусидчив. Оградить бы это место, пригласить всех, кого любишь, и пожить бы до надоеду в такой резервации.

— А меня пригласил бы? Ведь ты даже имени моего не знаешь.— А зачем мне имя, я знаю тебя по пачке «Казбека». Хотя человека знают лишь Бог и женщина, как сотворцы его. Идем по «молоденькому» лесу, из которого в завтра, в города выталкивает нас осень. Будто из бани — да в грязное белье. Мы так долго убегали из городов и социализма...

Попытка сохранить душу грозила гибелью плоти, а сохранение плоти — гибелью души. Мы бежали за синим троллейбусом Окуджавы, пытаюсь ухватиться за поручень последнего вагона. Мы у костров отогревали те крохи, что уцелели от души, пели, как гимны, песни.

И осень нас выталкивала, гнала прочь — в неприютность, безденежье. Мы шли по «молоденькому» лесу, в последний день лета, в предпоследний день свободы. Сиротство.

Идти не к кому, некуда, да и идти уж не хочется в эту урбанизированную тундру, в скопище надутых манекенов. Идти нам было некуда, и мы шли друг к другу, два оборвыша, две сироты. Потом был вечер, был сильный дождь, была моя комната, моя постель, наша постель. Она подошла к окошку, где стояло большое зеркало, и вдруг грохнула его об пол и, сидя среди битого стекла, на полу, плакала. А постель была потом, мы забрались в нее, как в какое-то убежище, избегая всех и всего. Долго молчали, потом она тихонько шептала: «Не хочется уезжать, возвращаться в конуру, где живет подруга Лидка, которая смотрит мужчинам в зубы: если они здоровы, значит, дружить можно, если нет, то прощай, милый. И как я с ней жила, Господи!

Я еду туда, где всех знаю, и знакомых и незнакомых. Всю жизнь жила, мечтая: встречу когда-нибудь незнакомого человека. Тяжко, когда все кажется знакомыми. И мне кажется, что я встретила».

А за окном дождь, холодный, наверное, осенний дождь в горах. Всю ночь дождь, ей хотелось, чтобы он не кончался. На улице раскачивался фонарь, освещая верхушки сосен, они сторбились, слегка покачивали мохнатыми лапами, что-то шептали, и ей казалось, что это не сосны, а души давным-давно умерших людей. И нашептывали души: все не так, все не то. Сосны нагоняли на округу таинственность, и необычность эта вползала в комнату и в постель. Она плакала, тесно-тесно ко мне прижимаясь, желая как бы раствориться во мне. Нам обоим не хотелось утра. Хо-

одная капель билась в пористые бетонные ступени и как бы успокаивала нас: ничего, до утра далеко. Ее проклятая память, как огненная полоса, выжигала в голове и сосны, и дождь, и теплого незнакомого, и очень близкого человека. Ее голова наполнялась сибирским ветром, маленьким кирпичным заводом на краю большого города и бабами в ватных штанах и телогрейках.

Она всеми силами старалась гнать завтрашний день и в испуге быстро нащупала мою голову и гладила ее, гладила, убеждая себя, что не сон это, а самая настоящая жизнь. И есть кто-то рядом, будто последний из живущих. Мне передалось ее состояние, и я до ломоты костной жалел ее. Полоска рассвета слегка осветила огромный шифоньер, пепельницу с окурками, графин с водой, засверкало на полу битое стекло. А она сквозь слезы: «А дети у нас были бы красивые». — Это она пыталась избавиться от дня вчерашнего, связав день сегодняшней и завтрашний. Она судорожно цеплялась за свой, за наш день и все шептала: «А дети у нас могли бы быть красивыми». Она ждала от меня слов, что день прожит не зря и это не просто день, а выкройка, быть может, жизни всей. Тогда я еще не знал, что женщина всегда права. Не знал, что, если мужчина будет мужчиной, все остальное приложится. Не знал, что при всей завершенности и самодостаточности женщины, ее до конца дней из глины сырой лепить и лепить, а, вылепив этот кувшин, надо его еще заполнить, не чем попало, ибо хлебать-то самому придется. Не знал, что мужчина должен сказать слово, поддерживающее день сего-

дняшний и вылупляющее день завтрашний. Я много чего не знал. Я привык бежать, а бегущий бежит налегке. Я считал, что жить — это уклоняться от жизни! На могильной плите Григория Сквороды его же слова: «Мир ловил меня, но не поймал».

И я ничего ей не сказал. И она ушла, утая в сугробах снега, неожиданно выпавшего за ночь. Она шла в прошлое, унося с собой лето, шла, прокладывая какой-то поворот, какую-то тропинку в судьбе моей. Цвели цветы на ее ситцевом платье, горела огненная грива, но исчез из глаз табун свободных лошадей, зараженных весенним бешенством.

Я опустел, как резиновая кукла, и дым сигаретный ничуть не способствовал моему наполнению. Я ступил на порог в босоножках: другой обуви не было. Валялись в углу комнаты дырявые резиновые сапоги, но я о них забыл. Ноги утонули в снегу. Я стоял и думал: завтра в город, нужны ботинки, пальто, на что покупать — непонятно; толкаться в переполненных автобусах, кому-то наступать на ноги...

А в притихшем лесу ели, березы, чуть покачиваясь, слушали мелодии Дворжака. А по радио чей-то очень деловой и значительный голос объявлял: «Внимание спасотряду: пропал турист из пятнадцатой группы — Кузьма Соловьев. Всем, всем, всем, на спасработы».

Минут через десять, вытянувшись в струнку, опоясанные веревками, кошками и еще Бог весть чем, протопал отряд спасателей, лица — как перед штурмом Эвереста. А за домиком в пушистом снегу лежал пропавший, лежал, блаженствуя, сбивая температуру. Он

не окликнул, не вернул отряд. Пьяный, а знает: нельзя в людях убивать чувство собственной значимости. А по радио чей-то приятный голос пел: «Не жалею, не зову, не плачу...» Я стоял и слушал, и понимал эту песню как никогда. Понимал, почему все обездоленные любят примерять собственные души к этим словам.

И, дробя есенинские слова, в лесу, совсем неподалеку, раздавались какие-то глухие удары о дерево. Поплелся, не знаю зачем, на эти звуки. Под сосной стоял коренастый, востроглазый мужичок с громадным камнем в руке. И как он умудрился в этих сугробах камень отыскать? Он бил этим камнем по дереву, задрав голову вверх, а на макушке сосны сидела, скукожившись, перепуганная белка.

— Дядька, ты чего творишь?

— Как чего, не видишь, белку сшибаю. Если долго стучать по дереву, то она обязательно свалится. Я сам из Комсомольска, правда, я тигролов, но и белок потягал из лесу не один мешок. А что — пять штук — и, глядишь, шапка сыну. Будет обнова.

Я засмеялся.

— Что смеешься-то?

— Так ведь белки не в мешках, а на деревьях.

Мужик загоготал.

— Так ведь они на деревьях, пока в мешок не угодят. Уж я-то знаю. Орден Дружбы народов имею за истребление хищников, депутат областного совета.

— Знаешь что, мужик, сшиби и мне на фуражку, дай пройтись по главной улице во всей красе, авось, кому понравлюсь, тем более те-

рять нам с тобой нечего, мы с тобой, можно сказать, личные враги Творца: ты вот белку сшибаешь, а я человека только что убил.

— А ты веселый, как я погляжу,— сказал он с угрозой.

— А ты ловок больно, одним ударом хочешь сшибить и шишку с дерева, и шубу с неба. И как это ни смешно, а многим удается. Уж ты-то и наешься, и оденешься, да за все это кого-то и в тюрьму пристроишь...

Хотел я плюнуть, да снег был больно чистый.

Вернулся в комнату, курю, укутавшись теплым одеялом. На полу среди капель крови и стекольного крошева валялись носки, веселые такие. На пальме сидела обезьяна, смотрела на меня и хихикала. А в соседнем доме мужики, успевшие выпить, пели: «Не жалею, не зову, не плачу...»

А я жалел и плакал. Жалел о годах, прожитых в бегах. Жалел, что побег из рабства так долог и бесконечен. Жалел, что не вытащил ее из прошлого. Жалел о погубленном мною табуне вольных лошадей, скачущих наперегонки с весенней горячкой. Жалел рысь, утопающую в бесконечных снегах, мечтающую ощутить жар золотого песка. Скорбел о погибшем безвозвратно тигрлове. И просил Господа Бога, чтобы он сотворил для нас хоть один нормальный день, пусть не по заслугам нашим, а подарка ради...

И СВЕТИЛО, И ГРЕЛО...

Книжный Кавказ был четко графичен, с какой-то акварельной сутью. Азия вся из бликов, вся горит разноцветьем: тополя, сирень, дремлющая киргизка на лошади. Мои детские внутренние блики купались во внешних бликах.

Родители жили на моей Родине, сейчас я живу на их Родине.

Узловая фраза в судьбе.

Сажали дерево без корней и удивлялись, почему оно не растет. Ностальгия по свету и цвету. Ранней ранью жеребенок, по сути, был голубой, а чай в руках киргиза — оранжевый. Ностальгия по трезвой наркотичности Азии. Среди обилия мелькающих, переливающихся цветов два были устойчивы — оранжевый и голубой, они и не давали раствориться тебе в обманчивых бликах.

Временность пребывания в Азии питали вечные домашние и уличные разговоры: вот вернемся на Кавказ, вот уж попьем вдоволь из наших родников, вот, вот, вот, вот...

В азиатских бликах растворялась даже «сталинская» униформа. А на Кавказе четкая одежда: валяные черные сапоги, жилет с накладными карманами, галифе. Лесные шишки и отрезвляющий, лишаящий враз всяких иллюзий вкус барбариса; все захлопнулось, все знаки препинания расставлены и в конце четкая точка. Без корней. Анархичность. Воспоминания о былом свете, о былом солнце. Будто одинокий азербайджанец на берегу Енисея. И только устойчивые голубые и оранжевые цвета не дают разлететься, раствориться в по-

тоне за частностями. Жизнь на наследство отцов. У предков нет времени на осмысление собственной жизни, событие за событием, одно весомей другого. И вот из азиатского светового сюрреализма падаю в снега Финляндии, мажу собственной кровью линию Маннергейма, вот я на озере Хасан уничтожаю японцев, и пехом через всю Европу — в Среднюю Азию. Любовь и насилие, отвага и мародерство, в общем, герой нашего времени. Тринадцать азиатских лет, потом вновь Кавказ, строю дом и не один. Стройматериалы, пот — вот все наследство. Разбираю наследство отца и коплю свое — сбор и складирование личных бед тому, кто придет после меня. «Отцы ели кислый виноград», и дети ели кислый виноград, и внуки будут есть кислый виноград... И ни у кого не будет времени на оскомину.

БЭЛЛА

Поезд вот-вот должен тронуться, вбегаю в плацкартный вагон, и меня останавливают необычные глаза, какие-то древние-древние. Они как бы говорили: «Ну, что суетишься, маленький человек?» У меня щелкнуло внутри. Подошел к ней, погладил по голове и говорю: «Здравствуй, Бэлла». И она нисколько не удивилась, смотрит на меня, будто давным-давно меня знает и просто отвечает: «Здравствуй».

Бэлле лет 13—14, на ней дубленка, аккуратненькая, с очень красивыми узорами, джинсы. Она сидит в окружении женщин-телохранительниц, окутанных в большие шерстяные шали — одни глаза, злобно меня

изучающие. Вагон чеченский, а у них законы строгие. Может так случиться, что погладишь женщину по голове в последний раз.

Где я видел Бэллу? Лицо ее напоминало мне что-то хорошее в моей жизни. Я часто ее видел и вижу в своих снах. Глядя на Бэллу, я вспоминаю детство. Мы жили в Киргизии, помню нашу маленькую комнатку с земляным полом, где пахло слегка сыростью, жареной картошкой и индийским чаем. Какой был чай! И все это пахло чем-то очень таинственным, прошлым. Этот запах ношу в себе и по сей день. Мне пять лет. Мама приходит с работы, усталая и грустная, наскоро перекусив, зажигает керосиновую лампу и читает мне книжки своим тихим, уютным голосом. Много путешествовал я, не выходя из моей волшебной комнатки. Был на необитаемом острове с Робинзоном, со Зверобоем совершал подвиги в Америке, отправлялся с Печориным на Кавказ.

И что интересно — мне кажется, наша комнатка меняла запахи в зависимости от того, что читала мама.

Свет лампы, смысловой дух книги, внимательный взгляд отца — все это как бы уравнивало нас в возрасте, я не чувствовал себя малышом, я взрослый человек, пытающийся познать доселе мною неизвестное. Особенно я любил «Героя нашего времени», наверное, оттого, что мама читала ее с большим теплом, чем другие книги.

Мне было жаль Бэллу, а мама плакала и сквозь слезы говорила: «Ничего, сынок, Бог даст, поедем на Кавказ, там и наш дом. Мы сходим на могилу Бэллы».

В словах «Кавказ», «Бэлла», «Печорин» было что-то очень высокое, значительное и загадочное, и почему-то холодное. Как мне хотелось на Кавказ! Позже, в «Кортике» прочитал простенькое предложение: «Мать с отчимом уехали на Кавказ». Сколько музыки в этих словах!

Я все приставал к матери, когда мы поедем на Кавказ, и, как мне кажется, усердно налегал на слово «Кавказ». Мне казалось, что на Кавказе все будет хорошо и счастливо. Мне казалось, главное — приехать, а остальное пустяки. «Скоро, сынок, скоро поедем», — говорила чуть не ежедневно мама. А друзья отца, солидные и строгие мужчины, убежденно говорили: «Будет и на нашей улице праздник». И я, глядя на них, ни капельки не сомневался — будет праздник на нашей улице.

Я сделал большое открытие, понял, что некоторые книжки не пахнут и не звучат. Мама прочитала «Над Тиссой», помню, что про пограничников и шпионов, что фамилия одного пограничника Смолярчук — и все. Очень меня интересовали слова «точка зрения». Как-то у мамы видел фиолетовый носовой платок с белыми точками по краям, спросил: «Это и есть точка зрения?» — и очень удивился, что ошибаюсь. Не сразу понял, что не всякое слово людям доступно, и, наверное, тогда и уважение к слову появилось.

Были у меня и огорчения, чуть ли не беды. Каждое воскресенье отец запрягал грязно-белую кобылу и ехал с мамой на базар во Фрунзе. Отправлялись они рано утром, так рано, что я не знал, когда они уезжали. Я просы-

пался; день в разгаре, а дома ни души. Тоска. Шел по шоссе и все поглядывал в сторону города, ждал отца с матерью, и только поздно вечером слышался грохот телеги. А вечером мама заставляла мыть ноги в арыке, а вода к вечеру в нем, о, какая холодная, и суешь ноги будто в йод.

Однажды мама пришла взволнованная и очень радостная. «Все, сынок, прощайся со своей родиной, поедem на нашу общую родину. Ты, конечно, сюда вернешься, но это будет не скоро». Я, радостный, долго бегал по нашему огороду, обжигая ноги о желтоватую, всю в трещинах, твердую азиатскую почву. Я бегал, пока не устал. Потом я подумал, что не так, наверное, надо прощаться. Весна. Вся земля в маках красных, казалось, горит все вокруг и огонь этот упирался в белые-белые горы, а такого голубого неба я больше никогда в жизни не видел. И вот я впервые в поезде. После нашей степной, сонной деревни вдруг поезд, множество домов на колесах, и все это едет так странно и необычно. Целыми днями бегал по поезду, щупал каждый поручень, удивлялся всякой гайке, пока не привык. Помню, на опушке соснового леса стояли дети, одетые во все белое, и с ними женщина, тоже во всем белом, и все они махали вслед поезду белыми панамками. И часто в жизни, когда мне нужно сделать выбор, я вижу зеленый лес и детей в белом, им сейчас по сорок; как сложилась их жизнь? Останавливались на какой-то маленькой станции, к которой примыкал сосновый лес, люди приносили с собой по веточке, и в поезде хорошо пахло. Мне тоже хотелось такую же веточку, но мама сказала:

«На Кавказе много таких деревьев, они еще надоедят тебе».

Конечно, думал я, на Кавказе и чтобы что-то да не росло. Два дня были в Москве. «Почему так много людей,— думал я,— и куда они все бегут?» Было в этом что-то ненормальное. Хотелось пить, и мама купила мне нарзан. Я сделал несколько глотков и больше не смог, попросил у мамы простой воды, а она говорит, что все здесь пьют только такую воду, и жалость моя к москвичам еще более усилилась. Да и как можно было не жалеть людей, пьющих такую воду. Две недели уже едем, и всюду на маленьких и больших станциях вижу женщин, продающих яички, пирожки, огурцы, капусту. Это были не торговки, а кормилицы наши; кормилицы российские,— от Азии и до Кавказа, и до самого края земли,— все на них держалось. И одеты они были одинаково — в телогрейки, кирзовые сапоги или боты да в старенькие шали и платки, а некоторые в шинели солдатские. И лица у них одинаковые были — грустные. Видел и другие лица — сытые и тулые, эти брезгливо совали бумажки кормилицам и спешили прочь. Умом я не мог разобраться в этих сложностях, но сердце говорило: что-то не так...

Приехали мы на Кавказ, в город, но из маминых слов я понял, что это еще не совсем Кавказ, значит, нам еще придется ехать. Живем мы на квартире. Квартира — это когда с тобой в одном доме живут чужие люди. Отец уехал ремонтировать наш дом в ауле.

Мы живем среди праздника. На площади открыли памятник женщине. Она стоит с вы-

тянутой рукой, держа какую-то бумажку. Люди ходят со значками, а на значках голубь. На улицах пляшут и поют, весь город в красном, тьма воздушных шариков. А мы с мамой почти каждый день ходим на вокзал встречать родственников и знакомых. Что творилось на вокзале: шум, гам, смех и слезы; кто-то пляшет, кто-то рядом плачет, из вагонов вываливались люди и овцы, все смешалось. Помню, как один человек оседлал, словно лошадь, паровоз, держался руками прямо за трубу. На радостях он не чувствовал, что горят руки. Лицо чумазое, сверкает белыми зубами, а сам такой радостный, у меня хорошо на душе, — я живу посреди праздника.

Я любил, чтобы книжки мне покупали в ненастные дни. Туман, грязь, воздушные шарики в руках детей, синие, зеленые, под стать погоде. За прилавком, серым, брезентовым, стояла тетя, укутанная всяческой материей, сапоги с галошами, а на прилавке вперемежку с туманом, холодом, веявшим от шаров, асфальта, грязи, сверкали и переливались, цвели книжки; они — теплым островком среди бесконечного ненастья; книжки согревали, я физически ощущал тепло, исходившее от них. Желтая, невзрачная собачонка в одной клетке с красным тигром, и жирафы, и кот в сапогах становились значительными и таинственными. А как пахли книжки, смешиваясь с запахом шаров и асфальта, хоть плачь!

Я со страхом думал — вот стану взрослым, и мне придется читать толстые книжки без картинок. Да, хороши были книжки в дни ненастья.

А солнце все обесцвечивало, и такое гранди-

озное событие — покупка новой книжки — меркло.

Хлеб тоже любил в ненастье. Тогда было много синих фанерных магазинчиков. Дождь, все в плащах, черные зонты (цветных не было), синяя хлебная будка, и из небольшой амбразуры белые руки протягивают единственно обнаженное существо, коричневое и доброе, которое звали коротким, но значительным словом — хлеб.

А базар в дождливый день, старый деревянный базар, мокрые попугаи в тумане, со знанием дела и с большим достоинством дарящие людям счастье, уместившееся в маленькой мокрой бумажке. Мне очень хотелось, чтобы эта странная птица протянула и мне бумажку и мама прочитала бы удивительные слова, которые до сих пор я не слышал. Я несколько не сомневался, что слова должны быть удивительными, иначе зачем столько взрослых людей ждут с нетерпением своего счастливого мига. Хотелось попросить маму, но чувствовал — не купит, а как хотелось! Я тогда еще не знал, какой я счастливый: в моих глазах умещались и улица, и люди с бумажками, и дождь, и небо, и те, кому я так завидовал, и курить им можно, пуская дым через ноздри, и сапоги на них со скрипом, и ремни с бляхами, и лица, знающие такое, чего не знаю я, были очень и очень несчастны, ибо кроме бумаги и нескольких слов на ней они ничего не видели, но узнал я об этом, когда сам мог дотянуться до попугая.

Туман и по сей день для меня загадка и чудо. После Азии, где изо дня в день гипнотическое солнце и ты совершенно теряешься

среди остальных, и сам я, и люди казались мне слегка оранжевыми; я отдельно себя не чувствовал, все мы были оранжевыми человечками, даже пьяные не могли нарушить всеобщую хмельную оранжевость. А на Кавказе туман, и я впервые почувствовал, что я есть и остальные люди тоже были, каждый чернел в одиночку, не было цвета, объединяющего людей. Мне становилось грустно и хотелось назад, на родину, где все мы оранжевые, не так ясно очерчены, а тут еще большие двухэтажные дома, автобусы и горы, холодно-серые сквозь рваный туман. Странно было видеть в городе опавшие листья, и давят их машины. Жаль. В Азии тоже опадали листья, и на них наезжали машины, но жалости я не испытывал, видно, вечное солнце усыпляло меня, как бы говоря: я же здесь, я вечное, а значит, будут и листья. На Кавказе все мне показалось холодным и серым, елки после оранжевого дурмана отрезвляюще зеленели. Удивил меня индюк. Обгорелая лысая голова, красная кровавая борода, тупые маленькие глазки, не птица, а символ зла. Мне она казалась и вправду посланцем какого-то другого, злобного мира. Ишаки мне сразу понравились и очаровали своей безмерной всепрощающей теплотой. Много их бродило на окраине. Меня передергивало, и я наполнялся бессильной злобой, когда мальчишки били их палками по голове и ушам.

Наконец мы дома, в мамином ауле. Дом — это две комнатки, затянутые паутиной, штукатурка на полу. Я вышел на улицу, со всех сторон скалы и скалы, и солнце не такое теплое, как в Азии, и пруда даже нет ни одного.

Я так рвался на Кавказ, а меня обманули, привезли и бросили среди камней. Я сел на ступеньки и горько заплакал. Вокруг пустые дома, в воздухе носилась пустота. Мама гладила меня по голове: «Я понимаю тебя, сынок, я знаю, что такое потерять родину, вот вырастешь и поедешь на родину свою, а пока я сошью тебе черкеску и сапожки и мы поедem на фестиваль». Она и вправду сшила сапожки и черкеску, и мы приехали в город. Танцевать я не умел, но ни капли не расстраивался. Один раз я видел, как танцуют на свадьбе, бегают по кругу, становятся на носки. Подумаешь, наука, все это я и проделал. Помню, было много людей и они хлопали...

Все это я вспомнил, глядя на эту маленькую девочку. Мое место в середине вагона. Спать не хотелось, я все смотрел и смотрел на Бэллу и не мог насмотреться. Она не отводила взгляда. Мне казалось, что я разговариваю с ней, только без слов, и вообще я даже про себя не мог выговорить ни одного другого слова.

Девочка часто стала ходить в другой конец вагона, то за водой, то просто с полотенцем на плече, хотя вода была рядом. Она всегда шествовала, гордо поднимая голову. Прошло несколько часов, ее охранницы уснули, а она все сидела, даже дубленку не сняла. Рядом со мной сидела упитанная, как-то домашнему уютная женщина и, жестоко расправляясь с курицей, посматривала на меня и улыбалась; напротив худой и серьезный гражданин читал газету, временами отодвигал ее, смотрел на меня и тоже улыбался. И из других отсеков тянулись чьи-то шеи с улыбочи-

выми лицами. Как они похожи были друг на друга. А мне было почему-то неловко и стыдно. Бэлла уже привыкла к своему имени, и я чувствовал, что имя ей нравится. Я ее тихонько окликал, она на миг останавливалась и грустно-грустно смотрела на меня. Немного посидев, она вновь пошла в другой конец вагона, но дорогу ей преградила чья-то мускулистая, волосатая рука. Мужчина спал, вытянув длинную руку во всю ширину прохода. Бэлла могла чуть-чуть нагнуться и пройти, но она взяла эту страшную руку и, спокойно согнув ее, освободила себе дорогу. Все это она проделала очень изящно, и ничто не дрогнуло в ней; она была выше мелких людских страхов. Уже потушили свет в вагоне, только несколько ламп тускло светили в проходе. Домой я приезжал в три часа ночи, оставался всего час. Хотелось подойти к Бэлле, но что-то удерживало меня. Мне казалось, что я снова маленький и мама читает книжки в нашей маленькой комнатке, а днем я купаюсь в пруду с мальчишками и утками, потом мы лежим на горячем песке, любуясь небом. Поезд остановился. Моя станция.

Падал снег. Бэлла стояла на самой нижней ступеньке, на ее лицо опускались снежинки и таяли, смешиваясь со слезами. Я ей что-то хотел сказать, но слова застревали в пересохшем горле. Я весь наполнился какой-то гулкой болезненной пустотой. А поезд медленно уносил Бэллу, а вместе с ней частицу меня, мою лучшую часть, но она оставляла себя во мне. Чернело здание вокзала, обнесенное железным забором, светились в темноте рельсы, уходящие в вечность. Свет фонаря падал на

запорошенный снегом тополь, надломленная морозом, одна из веток его мерно раскачивалась из стороны в сторону, возвращая меня в будни.

ДВЕРИ

В дом влетела тетка:— Быстрой собирайся... Умер Асхат... Автобус ждет... Давай быстрее... Поехали на похороны...

«Поехали на похороны»,— застряло в голове и удивило своей нелепостью. «Ехать на похороны. На похороны надо идти».

— Ты езжай, я сам доберусь,— сказал я. Сказать-то сказал, да забыл, что на дворе февраль, холодина и ветрище с ног сшибает; а идти надо в ущелье соседнее.

И я пошел. Несло меня ветром по ледяной дороге, штормовка и свитер не грели, и запоздало подумалось о шубе.

А вокруг уныние: снег, замерзшие скалы, ломкие стебли прошлогодней травы, и лес, черным пауком впившийся в серую муть неба. Здесь, наверное, никогда не было людей и никогда не будет, и ветер никогда не утихнет, и мне никогда не дойти.

Кавказ, апельсины, пляжи, золотые пески... Да полно, это ж литературные выдумки, вранье. Это какая-то Сахара, убитая ветром и морозом.

Кунак... Почему-то злило именно это слово. Какой там кунак? Для того чтобы был кунак, нужен дом какой-никакой, а здесь... Еле передвигаю ноги, подбадривая себя энергичным словом «идти»; шел и бормотал — идти, идти,

потом и это надоело; все — ни назад, ни вперед, ни домой, ни на похороны, лечь на снег, и все... Лег и вижу на вершине горы — кошара. Полз я на гору бодро, там тепло, там что-нибудь прояснится. Стакан чая и теплая шуба вырвали меня из серого ничто, и я с удовольствием слушал речь чабана: «Пойдешь направо, потом налево, большая часть пути позади, а теперь дорога все вниз и вниз и сама выведет к жилью».

Пожалел чабан и дал мне лошаденку, не жеребенок уже, но и до лошади ей далеко. На мне шуба, и я на лошади — значит, доеду. Рано радовался — дорога и вправду вниз и вниз, да сплошным льдом покрытая; на лошадь не сесть, вот и пришлось мне тащить и себя, и это существо непонятное — не лошадь и не жеребенок. Вначале дорога была одна, потом раздвоилась, потом третья, четвертая появилась, и я перескакивал с одной на другую, выбирая менее обледенелую, но таковой не было. Начал уставать, шуба не грела, лицо, обожженное ветром, то нестерпимо чесалось, то болело до крика. Дорог много, и не все они ведут куда мне надо, думал я, коченея, перебирая ногами, помахивая руками, потирая то грудь, то лицо, и случайно увидел в стороне от дороги столбы с проводами, — значит, они и приведут меня к жилью.

Приободрился и, когда спустился на ровное место, даже вскачь пустил лошаденку и в сумерках подъезжал к дому умершего.

Умер человек.

Говорили, что дней за пять до его смерти обступили, облепили, нависли над ним женщины, кто в сером, кто в черном, а кто и вовсе

в красном, и не умереть ему не было никакой возможности. Умер человек, близкий человек, вот холмик земли, а мне не верится, и нет во мне горя.

И не я один такой неверующий, мне казалось, что все люди, много людей тоже не верили.

Все было буднично, резали скот, мужики, будто стекольщики, тщательно разделявали туши, женщины спокойно и буднично раскладывали по кулечкам конфеты, спорили, зачем, мол, три «Кара-Кума» кинула в тот кулек, надо было в этот. Дымилась во дворе громадные казаны, люди ели, улыбались, говорили о сене, о баранах, зарезанных и еще живых. Во дворе собрались дети, большие и малые, им раздавали конфеты, один наклонялся к другому: а тебе какую конфету дали?, а мне вот эту.

Смотрел я на них, смотрел и заплакал, подумалось: на таком маленьком кусочке земли умер человек и тут же жизнь будущая шумит, толкает друг дружку. Как же я тогда ошибался — плакать надо было, но о том, что быстро жизнь выросла на том самом маленьком кусочке земли, где только что умер человек, жестокие, въяве видимые ростки прорастали...

Но не мне упрекать, прошло уж больше десяти лет, а я и сейчас не верю и никогда не поверю, что он умер.

Помню его стоящим среди выцветших посревших скал и в ковшике его мягких ладошек горит барбарис, а в глазах мальчишье ликование — смотри, как много я собрал.

На могилу не хожу, но каждый год, каждый месяц, всегда, когда есть время, прихожу на

то место, где он стоял среди выцветших серых скал и в ладонях горел барбарис, по-мальчишечьи светились глаза.

Развожу костер, я пришел к живому, я не верю, что он умер.

Рядом березовый лес — чудо, среди скал и вдруг — береза, здесь она светлее и значительнее, чем на равнине.

Падают листья, но разве деревья плачут по мертвым листьям, — они светло и нежно расстаются на время и машут ветвями вслед улетающим листьям. Я иду по белому лесу, любуюсь горящими кустами шиповника и барбариса и говорю с живым, близким мне человеком. Вот в это верую, и я верю, говорят его озорные мальчишьи глаза. И мы тихо идем и слушаем, как с белых деревьев опадают желтые листья.

Похоронили Асхата. Странная судьба у человека: автобус их полным-полнехонек врезался в грузовик, и погиб только он.

Дети остались, жена, мороз и ветрище, а человека не стало. Ночь, темень, устал я, голоден и слаб. Оставайся, говорили родственники, но я решил ехать сейчас. В темноте я еле различал еще более черные столбы. Ехал я в каком-то забытье, ехал, тащил в гору лошаденку, потом снова ехал, впервые на лошади; тело ныло, в голове ни мыслишки; я стал забывать, откуда и куда еду. И вдруг, в миг единый, вспыхнула луна, и все вокруг посветлело, грязные проталины не выглядели грязными, а читались как значительные многоточия; осветился лес, стал виден каждый ствол, каждая веточка; скалы, дальние и ближние, купались в белом и голубом свете; каж-

дая былинка, торчащая из снега, казалась думающим существом, и не стало большого и малого, все вокруг спаялось светом лунным в единое и неразрывное; и от целого этого стекало и вливалось в меня что-то такое, от чего пошли мурашки по телу; я не был оторван ни от гор, ни от снега, ни от былинки, — я стал частью округи, и мелькнула мысль — даже если я умру сейчас, то у меня вырастут корни, стану я чем-то другим, иначе буду называться, но выпасть в никуда я просто не смогу, и замерзнуть — не замерзну.

Ветер исчез куда-то, но было холодно не от мороза, меня колотило и било в седле от осознания того, что я не просто сам по себе, а часть чуда. Случайно на темной скале я увидел громадное зеркало и, замерев в ужасе, долго смотрел; а все было просто — в скале дыра и голубое небо, какое-то совсем дневное, и кусочек этой голубизны дивным зеркалом казался. Я даже подъехал поближе к зеркалу: меня затягивала эта голубизна, и хотелось в ней раствориться. Лошадь с любопытством повернула ко мне голову, и в ее громадном всемудром глазу уместилась луна, и смешным и нелепым показался я себе, восседающий почему-то на существе, в чем-то равном мне, а в общем, гораздо более чистом и безгрешном, чем я. Ощущение было такое, будто округа трясется, вышибая из меня темное, и все это нечистое выходит из меня с болью через торчком стоящие волосы. Вот он, Кавказ, такой, как тысячу лет тому назад, и он совсем не изменился. Это моя земля, и впервые, в миг один понял, кто она и кто я. Она рассказала и о себе, и обо мне, и о тех,

кто был до меня и кто придет после. И снова Кавказ громадный, как космос, и все миры вместе, и я понял, что Асхат не в земле, а где-то среди белого и голубого покоя, и понял я: умереть нельзя, ибо нет смерти.

Так вот почему Прометей выжил. Не потому, что Богом был, его к скале Боги могли приковать и посильнее. Они ошиблись в выборе места. Ну как может умереть человек, ставший частью бессмертия? От этой мысли я весь стал каким-то легким, будто только что проснулся. Спокойствие вернулось ко мне, но спокойствие какое-то светлое и бодрое. Исчезли голод и усталость, и лошаденка моя приободрилась, видимо, состояние мое ей передалось. И мы плыли молча, улыбаясь. Мы навсегда отвергли слова.

От света лунного снег словно горел, вспыхивали в голове воспоминания; голова мучилась, пыталась в чем-то разобраться и не могла.

Плыло голубое небо, плыли, цветные теперь, столбы и горящий снег, плыла луна, неся свое великое и простое дело.

Все спаялось большой тайной, и ни одно существо не могло отделить себя от этой чистоты, и каждая частичка любовалась друг дружкой и молча клялась никогда не предать освященного братства. Бог на моих глазах превратил ночь в день. И в свете Божьем я слышал Глас Божий: «Смотри, сынок, и слушай, и унеси свет сей в свой темный и ненастный мирок, да осветит и согреет он путь твой и дороги живущих с тобой! Самый трудный путь — это легкий путь. Не утони в сладком потоке слова — «покой», ибо покой и есть по-

рождение тяжкого пути. Одному не осилить пути Моего».

Странно устроен человек — из кусочков хочет собрать целое, имеет целое — разбирает на кусочки. Вот и я пытался определить пережитое, перебрал много слов и остановился на Красоте, но Красота эта была иная, не такая, какой я ее доселе представлял. В ней было что-то, вроде того, как отец во благо сечет сына, отчаявшийся человек выбивает пыль из ковра, и ковер чист; это как серу ввели в кровь, чтобы вывести шлаки. Странное сочетание: сера и кровь, но иначе кровь не очистится...

Домой я добрался только утром и вошел в дом свой, полный светлой усталости. На дверь свою взглянул и подумал: «Смерть приходит в дома в облике благополучия, дома, имеющие сострадание к самому себе и ко всем домам,— спасены будут...»

ЖАНТУГАН

— Люди злы,— сказал я.

— Нет, они добры,— сказала она,— просто они спешат, тонит их кто-то невидимый и сильный. Вот если бы всех людей вдруг остановить и стояли бы они так, чтобы видели друг друга, а подойти не могли. И сказал бы им невидимый, сильный и очень веселый: «Берите, люди, все, что хотите!» И получили бы люди все, что хотели, но не имели бы их руки возможности ласкать друг друга, слова их уносил бы ветер, и только глаза искали бы, неважно кого, ближнего или дальнего, потому что после разлуки все были бы близкие и чистые. И сказали

бы люди, уставшие от большой разлуки, тому невидимому: «Забери все и допусти друг к другу».

Знаешь, людям надо остановиться хоть на мгновение, ведь это так просто. Так говорила моя хромая соседка Жантуган, и глаза ее светлели и наполнялись чем-то таинственным, колдовским, неземным. И я не видел уже ее красивого лица, ничего вокруг не видел, только свет от нее. Так бывает ранней весной, когда небо недоуменно смотрит на землю, как бы говоря: «Неужели была зима?» Почему-то вспоминалось, как в детстве среди опавшей листвы нашел яблоко, холодное, обрызганное росой, такое неожиданное. Мать разрежала яблоко пополам. И я, сидя на крылечке, смотрел, как летят журавли; они летели, все летели и никак не могли улететь. Я радовался, не зная чему: то ли тому, что птицы не могут улететь насовсем, то ли найденному яблоку? Только вокруг меня все было по-осеннему чисто: и деревья, и опавшие листья, и птицы в небе, и крылечко наше — все вокруг чисто, и приходила уверенность, что все это вечно и я не умру.

— Хочешь правду, — сказал я. Она кивнула. — Люди не так добры, как ты думаешь, они жалеют хромого коня, а тебя не все любят, я знаю, я слышал. Они называют тебя колдуньей и говорят, что ты приносишь одни беды, они рады, что ты хромая.

На этом слове я запнулся, поняв, что сказал нехорошо. Я часто бывал с ней жесток.

— А я и есть колдунья, — сказала она спокойно и уверенно, как будто в этом не было ничего необычного. — Колдуны — это те, кто

строит мир, какой им по нраву, а старый мир помнят с самого начала, будто живут вечно. Вот и мне кажется, что я давно уж живу и все помню.

Помню, когда мы все зверьми еще были. И кто-то невидимый, что живет в тех далеких временах, откуда мы родом, смотрит на нас оттуда и очень злится, что мы пытаемся стать людьми, и мне порой кажется, что души людей воют с ним. Так бывает со мной, когда я сижу у костра, удивляюсь огню, вспоминаю его, и мне кажется, что давным-давно я сидела одна у костра и мне было очень одиноко и боязно.

И еще: глядя на огонь, мне кажется, что моя душа где-то далеко-далеко и будто воет она с тем невидимым. А еще он меня не любит потому, что я построила свой мир, он сильно не любит тех, кто что-то строит.

— Песни у тебя все грустные, я их нигде не слышал. Где ты берешь столько слов?

— Новый день приносит новое слово.

Вот так мы говорили с ней в тот день, и за день этот я узнал ее больше, чем за все годы, что прожил с ней совсем-совсем рядом и очень далеко от нее.

Я тоже раньше, наверное, больше любил и жалел хромого коня. Сядешь на него, а ему не стоит на месте, и скачет, стараясь не подавать вида, что он хромо́й. И скачет он, забывая, что у него три ноги, забывая, что в горах у нас дорога камениста, часто падает, с болью и недоумением устремив грустные глаза куда-то вдаль, вроде спрашивая кого-то: «Как же так, за что?» И тогда его глаза становятся похожими на глаза моей соседки.

— Так уж устроен мир,— сказала она.— Быть хромой не так уж плохо, меньше суетишься.— И она горько усмехнулась.— Зато у меня есть своя радуга.

— Разве радуга может быть чьей-то?

— А я не про ту, что над головой. Та общая. А я про ту, что под ногами — она моя.

— Такой радуги не бывает,— сказал я.

— Нет, бывает. Я тебе ее покажу, она совсем рядом. Вон в том тесном ущельице. Просто мало кто знает про эту радугу. Чабаны проходят рядом с ней, но им некогда, да и незачем раздвигать густые колючие кусты, а женщины не ходят в то место — боятся зверья. Может, мальчишки видели мою радугу? Мне очень хочется тебе что-то подарить, и я покажу тебе то место. Только ты дай слово, что не приведешь туда людей, которым это не нужно, и не будешь показывать радугу из-за корысти, выгоды или тщеславия. И если очень захочется кому-то сделать что-то хорошее, то я разрешаю — приводи.— Она немного помолчала. И еще зря ты думаешь, что я одинока. Я познакомлю тебя с моими друзьями. Говорят люди — друг может быть один, если это вообще возможно, а у меня их много. Пойдем?

И мы пошли.

— Давай полежим немного на солнышке,— сказала она,— а то я что-то устала, да и к радуге рановато, солнышко слишком низко.

Мы легли на теплые камушки, и она сразу уснула, а я ворочался, ворочался, да так и не сомкнул глаз.

— Эй, вставай,— толкнул я ее,— солнце вы-

соко, пойдём. И как ты умудрилась заснуть на камнях?

— А я под голову положила мягкий камушек,— сказала она, блаженно потягиваясь.

— Ну что, идем? — И мы пошли.

Мы шли, и я ни с того ни с сего стал чему-то радоваться, я чувствовал, что иду навстречу чему-то необычному, светлому. Глядя на нее, только это и могло прийти в голову. «Мы идем что-то открывать»,— говорил весь ее облик, и меня окатила волна беспричинного восторга. Так бывает в осенний туманный день, когда мелкий дождь нашептывает тебе какие-то очень грустные стихи, туман окутывает ноги твои, а потом, приподнявшись на цыпочки, и вовсе обнимает тебя, заслоняя собой поникшие деревья и кустарники. Тоскливо. И вдруг туман отступает, и ты натыкаешься на куст барбариса, и на нем — одинокое красное зернышко, живое, выжившее; и радость захлестывает тебя. Только не объяснить, чему радуешься?

— Видишь, сфинкс,— сказала она, показав на гордую каменную глыбу, возвышавшуюся над остальными скалами.— А вон скорбящая мать,— шепчет она, не давая мне прийти в себя, и тоненький палец ее зависает в воздухе, чуть подрагивая, и кажется мне, что этот пальчик на твоих глазах от «груды камня отсекает лишнее». И вот сидит среди скал женщина, вся в черном, опустив голову и обхватив руками колени. Ты слышишь, как она думает и все вокруг слушает, оцепенев?

— А хочешь, я покажу свою душу? — И пальчик взмывает куда-то вверх. На красной скале черной краской нарисовано лицо,

не выбито, а нарисовано. — Живое лицо на скале, ведь, не может неживое так улыбаться. — Смеется. — А когда назад будем идти, оно будет плакать. Знаешь, есть такие картинки: нарисован корабль, а чуть повернешь картинку, и нет корабля, а вместо него дом.

Сколько раз проходил я мимо этих мест, а ничего не видел. Наверное, потому, что проходил, и потому, что мимо. Чтобы найти, нужно остановиться. Мы дошли до ее колючего царства, продрались сквозь него. И, о чудо... Внизу, далеко-далеко, глубоко-глубоко, на самом дне узкого ущелья злобно рычит и двигается скачками фантастический зверь. Ему есть на что злиться: дорогу преградили два громадных камня, прижавшиеся тесно друг к другу. Зверь со всего маху бьется о камни и, ухнув от боли и злости, дробится на кучу громадных градин, и только так ему удается перепрыгнуть через огромные перламутровые камни, в прыжке рождая злостью своей тихую, очень яркую, спокойную радугу. Стены ущелья облеплены влажным мхом. Жантуган, тыча пальцем в эти стены, шепчет:

— Похожи на мой ковер. В детстве я любила гладить узоры, очень это мне помогало, особенно, когда обидит кто; гладишь узоры, а они такие ласковые, таинственные, сулящие что-то доброе впереди, и успокаиваешься. — Палец ее указывает мне на ошкуренные и до блеска отполированные рекой бревна, которые не портили праздника. И, глядя на них, думалось: вот были деревья, потом они стали бревнами, но не умерли, просто живут иначе, в другом мире.

Внизу беснуется река. У-у-у-у-ух, го-го-го,

у-у-у-ух, го-го-го. И этот гул создавал какую-то особенную тишину, слушая которую, казалось, что время остановилось. Мы смотрели на радугу и молчали, молчали и думали. О чем она думала, я не знаю, а я думал о том, что это единственное для меня место на земле, где неплохо родиться и умереть. И прожить бы так, чтобы после тебя нашелся человек и сказал бы: «Ничего, мол, что высоко и далеко, и грехов у него много, и недостоин он был места такого, но я продерусь сквозь колючки, принесу его и похороню здесь». Пусть не принес бы, а только подумал бы так, только подумал...

Мы долго стояли с ней и молчали, слушая музыку, доносящуюся из еле видимой глубины. Потом ушли, когда-то ведь надо возвращаться. Шли мы домой, а может быть, из дому. Вслед нам смотрело лицо на скале и плакало, как люди плачут, а может, даже жалостливей. И я искренне верил, что это — ее душа. И мне еще показалось, что лицо на скале живет давным-давно, оно старше этих скал и давно уже смотрит на нашу деревушку, смеется и плачет вместе с ней, с деревушкой. Смеется, когда кто-то приходит, плачет, когда кто-то уходит. Смеется и плачет, смеется и плачет. Вот уже показался наш деревенский пароход, как пропуск в мир иной. Мы оба с сожалением оглянулись туда, откуда пришли, и она тихо и убежденно сказала: «Приведи кого хочешь, а лучше людей плохих». И, кажется, я ее понимал...

Почему люди возвращаются к истокам своим? Почему возвращался я? Устал я просто, вот и ехал к себе домой. Да, ехал на

своей машине, заработать которую было не очень легко, но я старался, правдами и неправдами, больше неправдами — заработал. Проезжая через чужие города и села, я представлял себе наши красные горы, Жантуган и нашу радугу. Все эти годы земля была как бы моральной индульгенцией. Грешил я и тешил себя: вот приеду домой — очищусь, а как же иначе, ведь в душе я не таковский, но жить-то надо...

Вот и ущелье мое. Но горы почему-то не красные, а какого-то мышиного цвета, а были ли они когда-нибудь красными?

В деревню приехал во время сенокоса, деревня на месте, людей нет. Спрашиваю: «Где люди?» Серьезно отвечают: «На войне». Да, сенокос в деревне — это война. Но кое-кто остался в тылу. Это колхозный сторож Самоса, буфетчик и еще двое-трое недобитых, пербитых.

Те, кто уцелел после «мобилизации», собрались у колхозного клуба, сидят на бревнышке и лениво перекидываются словами, будто родились они на бревнышке этом. Да еще и председатель здесь, не может же село бросить на произвол судьбы. Вот и он сейчас спросит, как мои дела, как мое здоровье. Сколько лет прошло, а репертуар тот же. Сидим, озираем округу. Вдруг двери клуба распахнулись. Держа в одной руке швабру, в другой ведро, появилась она, Жантуган. Потом все произошло очень быстро. Она споткнулась о швабру и покатилась со ступенек, ведро опрокинулось на нее. Жантуган пыталась встать, упираясь ногой о край ступеньки, платье ее задралось, обнажая ноги. Никто из

нас не шелохнулся, не попытался помочь ей. Сосед, кивнув в ее сторону, широко улыбнулся, показывая желтые зубы, сказал: «Ребята, нас соблазняют». Все тихонько, но от всей души смеялись, и почему-то смотрели на меня. Я тоже скорчил веселую и в этот момент, наверное, глупую рожу и захихикал.

Жантуган долго поднималась, очень долго. Сначала встала на колени и повернулась в нашу сторону. Глаза, где же ее глаза прежние, радужные? Вместо глаз два красноватых, злобных круга. Где я видел такие глаза? Вспомнил: это же картина какого-то грузинского художника. На ней жираф с очень злыми тигриными глазами. И только сейчас я понял смысл той картины. А Жантуган долго, презрительно и зло смотрела в нашу сторону и дальше, охватывая и вбирая в два злобных круга всю деревню...

ВОЗВРАЩАЙСЯ СВОБОДНЫМ!

Горное село. Страна моя с лицом моей мамы. В старых домах живет тепло давным-давно умерших сынов твоих. Суетному, городскому сердцу ты — лекарство.

На неоструганном сосновом бревне, накинув на иссохшие плечи худой тулупчик, сидит старик. Видел его весной в белой рубашке среди яблонь цветущих, молился или просто беседовал со звонкими скалами. Лицо у него, как зеркало.

В этом же селе живет одинокая женщина Жансурат. Ее муж и два сына погибли на войне. Она живет назло бедам своим. Хозяйство

у нее маленькое: небольшой домик, крошечный огород, низкорослая коровенка и грустный осел. Несмотря на старость, она сама возит из леса дрова, не слишком загружая ослика, своего друга и частого собеседника. Приезжаю я к ней, убегая от нескончаемых забот городских. Стесняясь, присаживаюсь к ее маленькой печи, и мне все кажется, что я впитываю в себя часть тепла, которое ей предназначалось.

— Как живешь, Жансурат?

— Да так и живу, жизнь в одну сторону, я в другую. Живу, чтобы скотина не подохла. Осенью картошку продаю, чтобы сена купить, ведь косить некому. А так счастливая я, некому стирать, готовить, живу беззаботно. Мне много самой-то не надо, что есть, тому и рада. Зимой вот тяжело, думы одолевают. Зима согревается, прислоняюсь к домам нашим, из труб сельчан струится дым веселый, а из моей трубы лишь мое дыхание холодное, вперемежку с нехотя выползающим и лениво стелящимся дымом. И спит село мое, уставшее от дня нелегкого, и луна тысячерукая, пробиваясь сквозь оконную изморозь, убаюкивает сельчан моих.

Живу. По осени картошку продам — куплю муку. Живу, когда почтальон придет да протянет пенсию. Слава Богу, и колхоз вот помогает, недавно выдали пять килограммов масла подсолнечного и мешок отрубей, вот иногда и балую ослика своего Муслима. Живем. Слава Богу, войны нет. Вот в Чечне, правда... Включаю радио — поют, а мне как-то неловко, вроде сама на похоронах пою. Но, Бог

даст, утихнет, умиротворится, а то кости болеть больно стали. Война внутри у меня комом,— троих забрала — все, что было. Так-то, сынок... Ничего, хлебушек у нас есть, одеть чего имеется, никто не помыкает — чего не жить? Детям в последнее время конфет мало раздаю,— дорогие. Если здесь ребенку сладко, то и умершие умиротворены. А дети какие красивые пошли,— раньше один-два на все село, а сейчас — что ни дом, то полно красоты. С чего им красивыми не быть. А нашим детям — не так было. Советская власть, колхозы пошли, все на работах. Тогда инвалидов не было. Дети малые были — в колыбелях. Идешь на гору сено собирать,— колыбели эти с собой волочишь, отнесешь одну, бегом за второй. Дома — только ночевали. Потом война, выселение, возвратились — обустраивайся. Вся эта мерзость — в кровь да на лицо. Откуда детям красивым взяться?

Мы ели траву-кисличку да запивали барбарисовым соком, арбузы со шкуркой поедали, голо было, ни фрукты какой, ни овощей. Отцы в кошарах пропадали, матери из-под коровы вылезти не могли. С чего красота-то, сынок, откуда взяться ей?

Жаль вот родственники редко проведывают. Родственник, видно, как ветер: слышать — слышишь, а видеть — не видишь.

А поутру два друга, две родственные души, любимцы Бога — Жансурат и ослик Муслим, бредут по бесконечной мерзкой дороге в сторону дальнего леса, идут налегке, а выходят оба груженные. Вечерком пьем с ней чай.

— Слышишь, сынок, во дворе ветер играет с брошенной бумажкой, звук ее напоминает

мною прожитые годы.— И светлые глаза ее наполнились слезами.

Как-то встретил ее: нарядная, веселая...

— Куда собралась, Жансурат?

— Сказали, нам волю дают, вот иду голосовать.

— Возвращайся свободной! — крикнул ей вослед...

КАК ТРУДНО СШИТЬ ПЛАТЬЕ

Рожденный от плоти — есть плоть.
Рожденный от духа — есть дух.

Как трудно сшить платье, если тебе 75 лет. Долго подыскивала материю, нашла, наконец, тонкую серую ткань в белых ворсинках, сделала все вроде как надо, кармашки пришила, пуговицы, а вот воротник никак не могла соорудить. Время шло, а работа не двигалась. Как-то в городе встретила девочку. Знала, что работает она художником, да еще и модельером. Обрадовалась да и пожаловалась: с воротником вот нелады у меня, а она смотрит на меня, чистота в глазах. Спрашивает: «А зачем тебе новое платье, что, на праздник собралась?» А голос, как середь лета — осень. Заглянула я ей в глаза, и так захотелось увидеть в них красную, теплую жилку, но в них — одна чистота; ни холод не примут, ни тепло. Развернуло злостью меня и к дому подтолкнуло, иду, кипит во мне все; летела по этажам и ступенькам и дома не могла успокоиться, все комнату вымеряю свою, мысли прыгают, сходясь на слове «праздник».

Праздник, праздник, а был ли у меня праздник, был ли у нас праздник? «Да, был!» — сказала твердо и села на диван, и пришел покой, и пришла жалость к той девочке: как она, бедная, с такими глазами жизнь проживет?..

И все же были большие праздники, и кровь была большая, кровь в глазах и на дорогах; были мертвые дороги, были чужие земли, ляг и умри, и небо не поможет.

Была далекая Родина. Были битком набитые растерянными людьми поезда. Не дай Бог, тебе, девочка, услышать этот железный, бесконечный стук колес, будто рубят на куски и Надежду, и Родину, и Время само.

Мертвых хоронили тут же, у дороги, в маках, в тюльпанах, забрызганных черным мазутом. В степи чужой доселе невиданный верблюд что-то жевал и выплевывал, жевал и выплевывал, и уходил, топча бесконечно красное, и пекло нескончаемое солнце. А я старалась уйти назад, в ущелье мое, пропахшее сосновым духом, к звенящим родникам, в домик наш темный с маленьким желтым окошком, где мама у окна шьет по белому шелку золотыми нитками и поет про какого-то солдата, нашего земляка, погибшего в Бессарабии, которого некому оплакать, и так далеки от него близкие, земля, дом. И это диковинное слово, звеня, врывается в дом, пугая и завлекая чудом неизвестного доселе звучания: Бессарабия! Отец не спеша точит нож. К нам придут гости, и он велит мне принести сыр пятилетней выдержки. Как рассказать тебе, девочка моя, о вкусе того сыра, как рассказать об узорах на платке моей мамы? Я прошла и поля радости, и поля скорби, и сейчас уже не скажу,

где правда, на тех или этих полях? Привезли нас, народ мой и твой, и высыпали в желтом поле, расселили по домам русским, киргизским, немецким, украинским — да разве всех перечислишь, и зализывали мы раны среди речи чужой, иногда слова пахли нашими соснами, звенели ручьями нашими, а иногда — как песком по глазам. Всякое было. А по утрам бригадир вышибал окна. «На работу! На работу!» — звенело и утихало на краю села.

Как рассказать тебе о поле сплошь зеленом от бурачной ботвы? Не было конца, не было начала у этой жгучей, злобной зелени, сквозь которую не продраться до родины. Песни женщин, переломанных в поясице, громадные черные руки опускаются, выхватывают кучи зеленого, отшвыривают и вновь опускаются, а глаза красные с черным: печет ноги, и оранжевое пекло над головой, и стоишь, как лошадь, стреноженная мягкой зеленью, забытая всеми, и понимаешь, как далека земля твоя, как нереальны сосны наши, домики-землянки, и я понимала того солдата из песни, что погибал в далекой Бессарабии, и мне вот выпала своя Бессарабия, и слово это не пугало и не манило, оно приковывало меня к зеленому и оранжевому. Я вспоминала слова маминей песни и пела про себя, и мне казалось, что я прокладываю дорогу домой, на родину, смотрела на сторбленных красноглазых женщин и слышала, как они тоже поют и прокладывают дорогу домой. Мы пели и строили дорогу. И ничего сильнее той песни я не встречала, не слышала даже в праздники...

А праздники были.

Сейчас, перебирая те дни, не могу понять,

чему мы так дружно радовались. Тому, что грамотными стали и стали писать доносы, что ни день, то бандита арестуют или шпиона поймают, и навоз отмыть с лица и рук времени не было. А уцелевшие пели, да как пели, душой всей. Кусок хлеба не съешь, пока не прибьешь на крыше громадное красное полотнище.

А праздники были...

Прилетит гонец из центра на взмыленной лошади, только и скажет: «Завтра митинг». И, ночь ли, полночь ли — все живое приходило в движение. У кого лошадь — на лошади, у кого ишак — на ишаке. Инвалидов грузили на телеги, брали с собой собак, кошек — все живое. Еще вчера существовавшие сами по себе, превращались в одно громадное, возбужденное и радостное.

Первым трогалось самое верхнее в ущелье село. Тачанки, телеги, конные по бокам, гармошки, бубны, свирели — все это звенело, пело, пылилось и плыло вниз по ущелью. Поглотив нижнее село, поток увеличивался, а затем вбирал в себя третье, четвертое, пятое село и превращался в громадный поток, завернутый в пыль и музыку.

Устраивали привал, жгли костры, пели и плясали, ели и смеялись. Прибывали села верхние, и вспыхивали еще костры. И горело и светилось темное узкое ущелье, а лиц не увидишь, будто все на одно лицо, лицо поющее.

Утром все приходило в движение. В обед — митинг. Скрипели колеса, вначале с натугой, потом все веселей и веселей. Цокали копыта, много копыт, стреляли из ружей то здесь, то

там, били бубны — и все это причудливым, многоголосым эхом оставалось позади нас, а мы выплывали на поле громадное и ласковое и вливались в поток, образованный из равнинных сел, и это было море, поющее на разных голосах, и не понять уж было, где наши, а где не наши, все здесь были наши. И вновь наша речка вытекала из моря и устремлялась вверх по ущелью, плыла и пела, текла вверх и втекала малыми ручейками в дома, и приходил покой, и лишь внизу привычно гудела река, убаюкивая уставшее село.

Я слышала много песен, я прошла поля радости и поля скорби, но сильнее той песни бессловесной, поддерживаемой маленькой верой, меньше бурачного листка, не слышала. Ту песню бережно поддерживали черные, в кровавых трещинах, трясущиеся руки, ту песню видели красные в черном глаза, и слабая песня вливалась в нас маленькую веру, которую, казалось, вот-вот испепелит солнце, кровь и вера росли и приближали нас к земле, где сосны, где мать по белому шелку шьет, и из-под тоненьких пальцев прорастают золотые цветы, где в кувшине поет вода и где слышен голос отца: «Пойди, дочь, принеси пятилетнего сыра».

Я не враг тебе, дочка, и совсем не злюсь на тебя, я корю себя: может, я и отпраздновала в свое время праздники, предназначенные тебе, может, и горе твое прихватила, кто знает.

В дни мои приходят те красноглазые, чернорукие люди, прошедшие, как и я, через поле радости и поле скорби, и перед ликами этими я должна предстать в новом платье. Я понимаю, как трудно сшить платье: оно должно

быть не убогим, но и не желтым, в розах красных...

Трудно сшить платье, когда звучит в тебе та далекая и грустная песня: Бессарабия, Бессарабия, когда платье должно быть таким, как та песня; да сшила уж почти, а вот воротник никак не получается, и сижу я над шитьем, думаю и вспоминаю, а вдруг что забыла, быть может, маленькое, крохотное. И это-то не дает покоя...

СОДЕРЖАНИЕ

Ваза ко дню рождения	5
Аленький цветочек	15
Идущая по дорогам	25
Там, где будет стоять дом	30
Носки	81
И светило, и грело...	89
Бэлла	90
Двери	100
Жантуган	106
Возвращайся свободным!	114
Как трудно сшить платье	117

Литературно-художественное издание

Чипчиков Борис Магомедович

ВОЗВРАЩАЙСЯ СВОБОДНЫМ

Р а с с к а з ы

Редактор *Р. Х. Ацканов*

Художник *А. А. Фарафонова*

Художественный редактор *В. Л. Захохов*

Технические редакторы *Л. Д. Жарашуева,*

Л. А. Тлунова

Корректор *Г. Г. Тырнавская*

ЛКБ № 6 от 01.10.96

Сдано в набор 26.12.97. Подписано к печати 05.03.98.

Формат 70×90¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарни-
тура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 4,53.

Уч.-изд. л. 4,36. Тираж 1000 экз. Заказ № 3273.

Издательство «Эльбрус»

Нальчик, ул. Адмирала Головки, 6

Полиграфкомбинат им. Революции 1905 года

Мининформпечати КБР

Нальчик, пр. Ленина, 33